

## Лев Николаевич Толстой Царство божие внутри вас...

### Аннотация

*Средоточием этого трактата является теория Толстого непротivления злу насилieм, и, применяя ее к деятельности различных правительств, он приходит к выводу, что все они в сущности аморальны и служат интересам богачей и сильных мира сего, угнетая народные массы посредством воинской повинности, тюремного заключения и собирания налогов.*

## Лев Николаевич Толстой Царство божие внутри вас, или христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание

*Познаете истину, и истина освободит вас.*  
**Иоанн. VII, 32**

*И не бойтесь убивающих тело, души же могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне.*  
**Матф. X, 28**

*Вы куплены дорогою ценою — не делайтесь рабами человеков.*  
**К Коринфянам VII, 22**

В 1884 году я написал книгу под заглавием: «В чем моя вера?» В книге этой я действительно изложил то, во что я верю.

Излагая свою веру в учение Христа, я не мог не высказать и того, почему я не верю и считаю заблуждением ту церковную веру, которая обыкновенно называется христианством.

В числе многих отступлений этого учения Христа я указывал на главное отступление, именно — на непризнание заповеди непротivления злу насилieм, очевиднее других отступлений указывающее на извращение церковным учением учения Христа.

Я очень мало знал, как и все мы, о том, что делалось и было проповедуемо и писано в прежнее время по вопросу о непротivлении злу. Я знал то, что было высказано об этом предмете у отцов церкви — Оригена, Тертуллиана и других, — знал и о том, что существовали и существуют некоторые, так называемые, секты менонитов, гернгутеров, квакеров, которые не допускают для христианства употребления оружия и не идут в военную службу; но что было сделано этими, так называемыми, сектами для разъяснения этого вопроса, было мне мало известно.

Книга моя, как я и ожидал, была задержана русской цензурой, но отчасти вследствие моей репутации как писателя, отчасти потому, что она заинтересовала людей, книга эта распространилась в рукописях и литографиях в России и в переводах за границей и вызвала, с одной стороны, от людей, разделяющих мои мысли, ряд сведений о сочинениях, писанных об этом же предмете, с другой стороны, ряд критик на мысли, высказанные в самой книге.

Как то, так и другое, вместе с историческими явлениями последнего времени, выяснило для меня очень многое и привело меня к новым выводам и заключениям, которые я и хочу высказать.

Прежде скажу о тех сведениях, которые я получил об истории вопроса о непротivлении злу; потом о тех суждениях об этом вопросе, которые были высказаны как духовными, т.е. исповедующими христианскую религию, критиками, так и светскими, т.е. не исповедующими христианскую религию; и, наконец, те выводы, к которым я был приведен и теми и другими, и историческими событиями последнего времени.

## I

Одним из первых откликов на мою книгу были письма от американских квакеров. В письмах этих, выражая свое сочувствие моим взглядам о незаконности для христианина всякого насилия и войны, квакеры сообщили мне подробности о своей, так называемой, секте, более 200 лет исповедующей на деле учение Христа о непротивлении злу насилеиом и не употреблявшей и теперь не употребляющей для защиты себя оружия. Вместе с письмами квакеры присылали мне свои брошюры, журналы и книги. Из этих присланных мне ими журналов, брошюр и книг я узнал, до какой степени уже много лет тому назад ими неопровержимо была доказана для христианина обязанность выполнения заповеди о непротивлении злу насилеиом и была обличена неправильность церковного учения, допускающего казни и войны.

Целым рядом рассуждений и текстов доказав то, что с религией, основанной на миролюбии и благоволении к людям, несовместима война, т.е. калечение и убийство людей, квакеры утверждают и доказывают, что ничто столько не содействовало затемнению Христовой истины в глазах язычников и не мешало распространению христианства в мире, как непризнание этой заповеди людьми, именовавшими себя христианами, — как разрешение для христиан войны и насилия.

«Христово учение, вошедшее в сознание людей не посредством меча и насилия, говорят они, а посредством непротивления злу, посредством кротости, смирения и миролюбия, — только примером мира, согласия и любви между своими последователями и может распространиться в мире».

«Христианин, по учению самого Бога, может быть руководим в отношениях к людям только миролюбием, и потому не может быть такого авторитета, который заставил бы христианина действовать противно учению Бога и главного свойства христианина по отношению своих близких».

«Правило государственной необходимости, говорят они, может заставить изменить закону Бога тех, которые ради житейских выгод стараются согласить несогласимое, но для христианина, который истинно верит тому, что следование учению Христа дает ему спасение, правило это не может иметь никакого значения».

Знакомство с деятельностью квакеров и их сочинениями: с Фоксом, Пэном и в особенности с книгой Даймонда (Dymond) 1827 г. — показало мне, что не только давным-давно признана невозможность соединения христианства с насилеиом и войною, но что эта несовместимость давным-давно так ясно и несомненно доказана, что надо только удивляться, каким образом может продолжаться это невозможное соединение христианского учения с насилеиом, которое проповедовалось и продолжает проповедоваться церквями.

Кроме сведений, полученных мною от квакеров, около этого же времени я получил тоже из Америки сведения о том же предмете из совершенно другого и прежде мне вовсе неизвестного источника. Сын Вильяма Ллойда Гаррисона, знаменитого борца за свободу негров, писал мне, что, прочтя мою книгу, в которой он нашел мысли, сходные с теми, которые были выражены его отцом в 1838 году, он, полагая, что мне будет интересно узнать это, присылает мне составленную его отцом почти 50 лет назад декларацию или провозглашение непротивления — «Non resistance».

Провозглашение это возникло при следующих условиях: Вильям Ллойд Гаррисон, рассуждая в существовавшем в 1838 году в Америке обществе для установления мира между людьми о мерах прекращения войны, пришел к заключению, что установление всеобщего мира может быть основано только на явном признании заповеди непротивления злу насилеиом (Мф. V, 39) во всем ее значении, так, как понимают ее квакеры, с которыми Гаррисон находился в дружеских отношениях. Придя к такому заключению, Гаррисон и составил тогда и предложил обществу следующее провозглашение, которое было подписано тогда, в 1838 году, многими членами.

## Провозглашение основ, принятых членами общества, основанного для установления между людьми всеобщего мира

Бостон 1838 г.

Мы, нижеподписавшиеся, считаем своим долгом по отношению к себе, к делу, близкому нашему сердцу, к стране, в которой мы живем, и ко всему остальному миру огласить это наше исповедание, выразив в нем те основы, которых мы держимся, цели, к которым мы стремимся, и средства, которые мы намерены употреблять для достижения всеобщего благодетельного и мирного переворота. Вот это наше исповедание.

Мы не признаем никакого человеческого правительства. Мы признаем только одного царя и законодателя, только одного судью и правителя над человечеством. Отечеством нашим мы признаем весь мир, соотечественниками своими признаем все человечество. Мы любим свою родину столько же, сколько мы любим и другие страны. Интересы, права наших сограждан нам не дороже интересов и прав всего человечества. Поэтому мы не допускаем того, чтобы чувство патриотизма могло оправдывать мщение за обиду или за вред, нанесенный нашему народу...

Мы признаем, что народ не имеет права ни защищать себя от внешних врагов, ни нападать на них. Мы признаем также, что отдельные лица в своих личных отношениях не могут иметь этого права. Единица не может иметь большего значения, чем совокупность их. Если правительство не должно оказывать сопротивления чужестранным завоевателям, имеющим целью опустошать наше отечество и избивать наших сограждан, то точно так же не должно быть оказываемо сопротивление силою отдельным лицам, нарушающим общественное спокойствие и грозящим частной безопасности. Проповедуемое церквями положение о том, что все государства на земле установлены и одобряемы Богом и что все власти, существующие в Соединенных Штатах, в России, в Турции, соответствуют воле Бога, столь же нелепо, как и кощунственно. Это положение представляет творца нашего существом пристрастным и устанавливающим и поощряющим зло. Никто не решится утверждать того, чтобы власти, существующие в какой бы то ни было стране, действовали по отношению к своим врагам в духе учения и по примеру Христа. А потому деятельность этих властей не может быть приятна Богу, и потому и власти эти не могли быть установлены Богом и должны быть низвергнуты не силою, но духовным возрождением людей.

Мы признаем нехристианскими и незаконными не только самые войны — как наступательные, так и оборонительные, — но и все приготовления к войнам: устройство всяких arsenалов, укреплений, военных кораблей; признаем нехристианским и незаконным существование всяких постоянных армий, всякого военного начальства, всяких памятников, воздвигнутых в честь побед или павших врагов, всяких трофеев, добытых на поле сражения, всяких празднований военных подвигов, всяких присвоений, совершенных военной силою; признаем нехристианским и незаконным всякое правительственное постановление, требующее военной службы от своих подданных.

Вследствие всего этого мы считаем для себя невозможным не только службу в войсках, но и занятие должностей, обязующих нас принуждать людей поступать хорошо под страхом тюрьмы или смертной казни. Мы поэтому добровольно исключаем себя из всех правительственных учреждений и отказываемся от всякой политики, от всяких земных почестей и должностей.

Не считая себя вправе занимать места в правительственных учреждениях, мы точно так же не считаем себя вправе и избирать на эти места других лиц. Мы также считаем себя не вправе судиться с людьми, чтобы заставить их возратить взятое у нас. Мы считаем, что мы обязаны отдать и кафтан тому, кто взял нашу рубашку, но никак не подвергать его насилию (Мф. V, 40.)

Мы верим в то, что уголовный закон Ветхого Завета: око за око, зуб за зуб — отменен Иисусом Христом и что по Новому Завету всем его последователям проповедуется прощение врагам вместо мщения, во всех случаях без исключения.

Вымогать же насилем деньги, запирать в тюрьму, ссылать или казнить, очевидно, не есть прощение обид, а мщение.

История человечества наполнена доказательствами того, что физическое насилие не содействует нравственному возрождению и что греховные склонности человека могут быть подавлены лишь любовью, что зло может быть уничтожено только добром, что не должно надеяться на силу руки, чтобы защищать себя от зла, что настоящая безопасность для людей находится в доброте, долготерпении и милосердии, что лишь краткие наследуют землю, а поднявшие меч от меча погибнут.

И поэтому, как для того, чтобы вернее обеспечить жизнь, собственность, свободу, общественное спокойствие и частное благо людей, так и для того, чтобы исполнить волю того, кто есть царь царствующих и господь господствующих, мы от всей души принимаем основное учение непротивления злу злом, твердо веруя, что это учение, отвечая всем возможным случайностям и выражая волю Бога, в конце концов должно восторжествовать над всеми злыми силами. Мы не проповедуем революционного учения. Дух революционного учения есть дух мести, насилия и убийства. Он не боится Бога и не уважает личности человека. Мы же желаем быть преисполнены духа Христова. Следуя основному нашему правилу непротивления злу злом, мы не можем производить заговоров, смут или насильий. Мы подчиняемся всем узаконениям и всем требованиям правительства, кроме тех, которые противны требованиям Евангелия. Сопротивление наше ограничивается покорным подчинением, имеющим быть наложенными на нас за неповиновение, наказаниям. Намереваясь без сопротивления переносить все направленные на нас нападения, мы между тем, с своей стороны, намерены не переставая нападать на зло мира, где бы оно ни было, вверху или внизу, в области политической, административной или религиозной, стремясь всеми возможными для нас средствами к осуществлению того, чтобы царства земные слились в одно царство господина нашего Иисуса Христа. Мы считаем несомненной истиной то, что все то, что противно Евангелию и духу его и потому подлежит уничтожению, должно быть сейчас же уничтожаемо. И потому, если мы верим предсказанию о том, что наступит время, когда мечи перекуются на орала и копья на серпы, мы сейчас же, не откладывая этого на будущее время, должны делать это по мере сил наших. И потому все те, которые выделывают, продают, употребляют оружие, содействуют всяким военным приготовлениям, этим самым вооружаются против мирного господства Сына Божьего на земле. Высказав наши основы, скажем теперь о том, какими путями мы надеемся достигнуть нашей цели. Мы надеемся победить «безумием проповеди».

Мы будем стараться распространять свои взгляды среди всех людей, к каким бы народам, исповеданиям и слоям общества они ни принадлежали. Для этой цели мы будем устраивать публичные чтения, распространять печатные объявления и брошюры, составлять общества и подавать прошения во всякие правительственные учреждения. Вообще будем стремиться всеми доступными для нас средствами к достижению коренного переворота во взглядах, чувствах и действиях нашего общества относительно греховности насилия по отношению к внешним и внутренним врагам. Принимаясь за это великое дело, мы вполне сознаем, что наша искренность может быть подвергнута жестокому испытанию. Наша задача может навлечь на нас оскорбления, обиды, страдания и даже смерть. Нас ожидает непонимание, ложное толкование и клевета. Против нас должна подняться буря. Гордость и фарисейство, честолюбие и жестокость, правители и власти — все это может соединиться, чтобы уничтожить нас. Таким образом поступали с мессией, которому мы стремимся подражать по мере сил своих. Но нас не пугают эти ужасы. Мы надеемся не на людей, а на всемогущего господина. Если мы отказались от человеческого заступничества, что же может поддержать нас, как не одна вера, побеждающая мир? Мы не будем удивляться тем испытаниям, которым мы подвергаемся, а будем радоваться тому, что удостоимся разделить страдания Христа.

Вследствие всего этого мы предаем души свои Богу, веруя тому, что сказано, что тот, кто оставит дома и братьев и сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или поля ради Христа, получит во сто раз больше и наследует жизнь вечную.

Итак, твердо веруя, несмотря на все, что может вооружиться против нас, в несомненное торжество во всем мире основ, выраженных в этом провозглашении, мы прилагаем здесь свои подписи, надеясь на разум и совесть человечества, более же

всего на силу Божью, которой и вручаем себя.

Вслед за этим провозглашением были основаны Гаррисоном общество непротivления и журнал, называвшийся «Непротivляющимся» («Non-resistant»), в котором проповедовалось учение непротivления во всем его значении и со всеми его последствиями, как оно было выражено в провозглашении. Сведения о дальнейшей судьбе общества и журнала непротivления получены мною из прекрасной биографии В.Л. Гаррисона, составленной его сыновьями.

Общество и журнал просуществовали недолго: большинство сотрудников Гаррисона по делу освобождения рабов, опасаясь того, чтобы слишком радикальные требования, выраженные в журнале «Непротivляющемся», не оттолкнули людей от практического дела освобождения негров, — большинство сотрудников отказалось от исповедания принципа непротivления, как он был выражен в провозглашении, и общество и журнал прекратили свое существование.

Это провозглашение Гаррисона, так сильно и красноречиво выражавшее такое важное для людей исповедание веры, казалось, должно бы было поразить людей и сделаться всемирно-известным и предметом всестороннего обсуждения. Но ничего подобного не было. Оно не только не известно в Европе, но среди американцев, столь высоко чтущих память Гаррисона, провозглашение это почти неизвестно.

Та же неизвестность постигла и другого борца за непротivление злу, недавно умершего, в продолжение 50 лет проповедовавшего это учение, американца Адина Баллу. До какой степени мало известно всё то, что относится к вопросу непротivления, видно из того, что Гаррисон-сын, написавший превосходную, в 4-х больших томах, биографию своего отца, этот Гаррисон-сын на вопрос мой о том, существует ли теперь общество непротivления и есть ли последователи его, отвечал мне, что, сколько ему известно, общество это распалось и последователей этого учения не существует, тогда как в то время, когда он писал мне, жил в Массачусете, в Hopedate, Адин Баллу, участвовавший в трудах отца Гаррисона и посвятивший 50 лет жизни на проповедь устно и печатно учения непротivления. Впоследствии я получил письмо от Вильсона, ученика и помощника Баллу, и вошел в сношение с самим Баллу. Я написал Баллу, и он отвечал мне и прислал мне свои сочинения. Вот некоторые выписки из них.

«Иисус Христос — мой господь и учитель, — говорит Баллу в одной из статей, обличающей непоследовательность христиан, признающих право защиты и войны. — Я обещал, оставив всё, следовать за ним, на худое и доброе до самой смерти. Но я гражданин демократической республики Соединенных Штатов, которой я присягал в верности в том, что я буду поддерживать конституцию моей страны, если нужно, жертвою жизни. Христос требует от меня, чтобы я сделал другим то, что я хотел бы, чтобы мне делали. Конституция Соединенных Штатов требует от меня, чтобы я делал двум миллионам рабов (тогда были рабы, теперь на место их смело можно поставить рабочих) как раз обратное тому, что бы я хотел, чтобы мне делали, т. е. содействовал бы тому, чтобы держать их в том рабстве, в котором они находятся. И это ничего, я продолжаю избирать или избираться, я помогаю управлять, я даже готов быть выбран на какую-либо должность управления. Это не мешает мне быть христианином. Я продолжаю исповедовать и не нахожу затруднения исполнять завет с Христом и с правительством».

«Иисус Христос запрещает мне противиться делающим зло и лишать их ока за око и зуба за зуб, крови за кровь, жизни за жизнь».

«Мое правительство требует от меня как раз противного и защиту себя основывает на виселице, ружье, мече, употребляемых против своих домашних и внешних врагов. И соответственно этому страна снабжается виселицами, тюрьмами, арсеналами, военными кораблями и солдатами».

«В поддержании и употреблении этих дорогостоящих убийственных приспособлений мы можем весьма удобно осуществить добродетель прощения обижающих нас, любви к врагам, благословения проклинающих нас и делания добра

ненавидящим нас. Для этой цели у нас есть постоянные христианские священники, чтобы молиться за нас и призывать благословение Божие на святые убийства. Я все это вижу (т. е. противоречие исповедания и жизни) и продолжаю и исповедовать и управлять и горжусь тем, что я в одно и то же время и набожный христианин и преданный слуга правительству. Не хочу я согласиться с этим безумным понятием непротivления. Не могу я отказаться от своего влияния и оставить одних безнравственных людей во главе правительства. Конституция говорит: правительство имеет право объявлять войну, и я соглашаюсь, я поддерживаю это, я клянусь, что буду поддерживать. Я от этого не перестаю быть христианином. Война тоже христианская обязанность. Разве не христианское дело убить сотни тысяч ближних, насилловать женщин, разорять и сжигать города и делать всевозможные жестокости? Пора бросить все эти выдуманные сентиментальности. Это самое настоящее средство прощать обиды и любить врагов. Если мы только делаем это в духе любви, ничего не может быть более христианского, как такое огульное убийство».

В другой брошюре, под заглавием: «Сколько нужно людей, чтобы преобразить злодейство в праведность», он говорит: «Один человек не должен убивать. Если он убил, он преступник, он убийца. Два, десять, сто человек, если они делают это, — они убийцы. Но государство или народ может убивать, сколько он хочет, и это не будет убийство, а хорошее, доброе дело. Только собрать побольше народа, и бойня десятков тысяч людей становится невинным делом. Но сколько именно нужно людей для этого?»

Вот в чем вопрос. Один не может красть, грабить, но целый народ может. Но сколько именно нужно для этого? Почему 1, 10, 100 человек не должны нарушать закона Бога, а очень много могут?»

А вот катехизис Баллу, составленный для его паствы.

### Катехизис непротivления

(Перевод сделан свободно, с некоторыми пропусками)

**Вопр.** — Откуда взято слово «непротivление»?

**Отв.** — Из изречения: не противься злomu. Мф. V, 39.

**Вопр.** — Что выражает это слово?

**Отв.** — Оно выражает высокую христианскую добродетель, предписываемую Христом.

**Вопр.** — Следует ли слово непротivление принимать в самом его обширном смысле, т. е. что оно указывает на то, чтобы не делать никакого сопротивления злу.

**Отв.** — Нет, оно должно быть понимаемо в точном смысле наставления Спасителя, т. е. не платить злом за зло. Злу должно противиться всякими праведными средствами, но никак не злом.

**Вопр.** — Из чего видно, что Христос в таком смысле предписал непротivление?

**Отв.** — Из слов, которые он при этом сказал. Он говорил: Вы слышали, что сказано древним: око за око, зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злomu. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду.

**Вопр.** — О ком он говорил в словах: вы слышали, что сказано?

**Отв.** — О патриархах и пророках, о том, что они сказали, — что содержится в писаниях Ветхого Завета, который евреи обыкновенно называют Законом и пророки.

**Вопр.** — Какие предписания разумел Христос под словами: «вам сказано»?

**Отв.** — Те предписания, в которых Ной, Моисей и другие пророки дают право причинять личный вред носителям вреда, чтобы наказывать и уничтожать злые дела.

**Вопр.** — Приведите такие предписания.

**Отв.** — «Кто прольет кровь человеческую между людьми, того самого кровь прольется». Быт. IX, 6.

«Кто ударит человека так, что тот умрет, да будет предан смерти. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Исх. XXI, 12, 23, 25.

«Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти». «А кто сделает повреждение ближнему своему, тому должно сделать то же, что он сделал». «Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб». Лев. XXIV, 17, 19, 20.

«А судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот есть свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то поступайте с ним так, как он умышлял поступить с братом своим. Да не пощадит его глас твой: душу за душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Второз. XIX, 18, 21.

Вот предписания, о которых говорит Иисус.

Ной, Моисей и пророки учили так, что тот, кто убивает, калечит или мучает своих ближних, делает зло. Чтобы противиться такому злу и уничтожать его, нужно делающего зло наказывать смертью или искалечением или каким-нибудь личным мучением. Обиде нужно противопоставить обиду, убийству — убийство, мучению — мучение, злу — зло. Так учили Ной, Моисей и пророки. Но Христос отрицает все это. «Я говорю вам, написано в Евангелии: не противься злему, не противься обиде — обидою, но скорее перенеси повторенную обиду от делающего зло». То, что было позволено, запрещается. Понявши, какого рода противлению они учили, мы точно знаем, чему учит непротавление Христа.

**Вопр.** — Допускали ли древние сопротивление обиде обидою?

**Отв.** — Да. Но Иисус запретил это. Христианин ни в каком случае не имеет права лишать жизни или подвергать обиде делающего зло ближнего.

**Вопр.** — Может ли он убить или искалечить другого при самообороне?

**Отв.** — Нет.

**Вопр.** — Может ли он войти с жалобой в суд с той целью, чтобы его обидчик был наказан?

**Отв.** — Нет. Ибо, что он делает через других, в сущности он сам делает.

**Вопр.** — Может ли он сражаться в войске против неприятелей или против домашних бунтовщиков?

**Отв.** — Конечно, нет. Он не может принимать никакого участия в войне или воинских приготовлениях. Он не может употреблять смертоносного оружия. Он не может противиться обиде обидою, все равно один ли он, или вместе с другими, сам или через других людей.

**Вопр.** — Может ли он добровольно выбирать или снаряжать военных людей правительству?

**Отв.** — Он не может делать ничего этого, если хочет быть верным закону Христа.

**Вопр.** — Может ли он добровольно давать деньги для помощи правительству, поддерживаемому военной силой, смертной казнью, вообще насилием?

**Отв.** — Нет, если только деньги не предназначены на какой-нибудь особый предмет, справедливый в самом себе, где и цель и средства добрые.

**Вопр.** — Может ли он платить подати такому правительству?

**Отв.** — Нет, он не должен добровольно платить подати, но не должен противиться взиманию податей. Подать, налагаемая правительством, взыскивается независимо от воли подданных. Ей нельзя противиться, не прибегая самому к насилию. Насилия же христианин употреблять не может, поэтому он должен предоставить прямо свою собственность насильственному ущербу, производимому властями.

**Вопр.** — Может ли христианин подавать голос при выборах и участвовать в суде или управлении?

**Отв.** — Нет, участие в выборах, суде или управлении есть участие в правительственном насилии.

**Вопр.** — В чем главное значение учения о непротавлении злу?

**Отв.** — В том, что оно одно дает возможность вырвать с корнем зло, как из своего сердца, так и из сердца ближнего. Учение это запрещает делать то, чем увековечивается и умножается зло в мире. Тот, кто нападает на другого и обижает его, зажигает в другом чувство ненависти, корень всякого зла. Обидеть другого, потому что он нас обидел, будто бы для того, чтобы устранить зло, значит повторить дурное дело и над ним и над собой, значит породить или по крайней мере освободить — поощрить того самого демона, которого мы будто бы хотим изгнать. Сатана не может быть изгнан сатаною, неправда не может быть очищена неправдою, и

зло не может быть побеждено злом.

Истинное непротivление есть единственное настоящее сопротивление злу. Оно сокрушает голову змия. Оно убивает и в конец истребляет злое чувство.

**Вопр.** — Но если мысль учения и верна, то исполнимо ли оно?

**Отв.** — Так же исполнимо, как всякое добро, предписываемое законом Божиим. Добро не может быть исполняемо во всех обстоятельствах без самоотречения, лишения, страдания и, в крайних случаях, без потери самой жизни. Но тот, кто дорожит жизнью более, чем исполнением воли Бога, уже мертв для единственной истинной жизни. Такой человек, стараясь спасти свою жизнь, потеряет ее. Кроме того, и вообще там, где непротivление стоит пожертвования одною жизнью или каким-нибудь существенным благом жизни, протivление стоит тысячи таких жертв.

Непротivление сохраняет — протivление разрушает.

Несравненно безопаснее поступать справедливо, чем несправедливо; сносить обиду, чем протivиться ей насилieм, — безопаснее даже в отношении к настоящей жизни. Если бы все люди не протivились злу злом, наш мир был бы блажен.

**Вопр.** — Но когда лишь немногие будут так поступать, что станется с ними?

**Отв.** — Если бы так поступал даже только один человек, а все остальные согласились распять его, то не более ли славно ему было бы ему умереть в торжестве непротivляющейся любви, молясь за врагов своих, чем жить, нося корону Цезаря, обрызганную кровью убитых? Но один ли, или тысячи людей, твердо решивших не протivиться злу злом, все равно, среди просвещенных ли, или среди диких ближних, гораздо больше безопасны от насилия, чем те, которые полагаются на насилie. Разбойник, убийца, обманщик скорее оставит их в покое, чем тех, кто сопротивляется оружием. Взятые меч от меча погибнут, а ищущие мира, поступающие дружелюбно, безобидно, забывающие и прощающие обиды большею частью наслаждаются миром или если умирают, то умирают благословляемы.

Таким образом, если бы все соблюдали заповедь непротivления, то, очевидно, не было бы ни обиды, ни злодейства. Если бы таких было большинство, то они установили бы управление любви и доброжелательства даже над обижающими, никогда не протivясь злу злом, никогда не употребляя насилия. Если бы таких людей было довольно многочисленное меньшинство, то они произвели бы такое исправительное нравственное действие на общество, что всякое жестокое наказание было бы отменено, а насилie и вражда заменились бы миром и любовью. Если бы их было только малое меньшинство, то оно редко испытывало бы что-нибудь худшее, чем презрение мира, а мир между тем, сам того не чувствуя и не будучи за то благодарен, постоянно становился бы мудрее и лучше от этого тайного воздействия. И если бы в самом худшем случае некоторые из членов меньшинства были бы гонимы до смерти, то эти погибшие за правду оставили бы по себе свое учение, уже освещенное их мученической кровью.

Да будет мир со всеми, кто ищет мира, и всепобеждающая любовь да будет негибнущим наследием всякой души, добровольно подчиняющейся закону Христа:

«Не протivься злу насилieм».

Баллу в продолжение 50 лет писал и издавал книги преимущественно о вопросе непротivления злу насилieм. В сочинениях этих, прекрасных по ясности мысли и красоте изложения, вопрос рассмотрен со всех возможных сторон. Устанавливается обязательность этой заповеди для всякого христианства, исповедующего Библию как Божеское откровение. Приводятся все обычные возражения протiv заповеди непротivления как из Ветхого Завета, так и из Нового, как, например: изгнание из храма и т. п., и на все выставляются опровержения; показывается независимо от писания практическая разумность этого правила и выставляются все обычно делаемые протiv нее возражения и опровергаются. Так, одна глава его сочинения трактует о непротivлении злу в исключительных случаях, в которой он признает, что если бы были случаи, в которых невозможно применение непротivления злу, то это доказывало бы, что правило это вообще несостоятельно. Приводя эти исключительные случаи, он доказывает, что именно в них-то и нужно и разумно применение этого правила. Нет стороны вопроса, как для сторонников его, так и для протivников, которая бы не была исследована в этих сочинениях. Всё это я говорю для того, чтобы показать тот несомненный интерес, который должны бы иметь



такие сочинения для людей, исповедующих христианство, и что потому, казалось бы, деятельность Баллу должна бы была быть известной, и мысли, выраженные им, должны бы были или признаны, или опровергнуты; но ничего подобного не было.

Деятельность Гаррисона-отца с его основанием общества непротивляющихся и декларация еще более, чем сношения мои с квакерами, убеждали меня в том, что отступление государственного христианства от закона Христа о непротивлении насилием есть дело, давно замеченное и указанное и для обличения которого работали и не перестают работать люди. Деятельность Баллу еще более подтвердила мне это. Но судьба и Гаррисона и в особенности Баллу, никому не известного, несмотря на 50 лет упорной и постоянной работы в одном, и том же направлении, подтвердила для меня и то, что существует какой-то невысказанный, но твердый уговор замалчивания всех таких попыток.

В августе 1890 года Баллу скончался, и в американском христианского направления журнале (*Religio-Philosophicae journal*, August 23) был его некролог.

В хвалебном некрологе этом пишется о том, что Баллу был духовным руководителем общины, что он произнес от 8 до 9 тысяч проповедей, женил 1000 пар и написал около 500 статей, но ни одного слова не сказано о той цели, которой он посвятил свою жизнь, не сказано даже и слова: «непротивление».

Как всё то, что 200 лет проповедуют квакеры, как деятельность Гаррисона-отца, основание его общества и журнала, его провозглашение, так и вся деятельность Баллу точно как будто не существуют и не существовали.

Поразительным примером такой неизвестности сочинений, направленных на разъяснение непротивления злу насилием и обличение тех, которые не признают этой заповеди, служит судьба книги чеха Хельчицкого, только недавно ставшей известной и до сих пор еще не напечатанной.

Вскоре по выходе моей книги по-немецки я получил из Праги письмо от профессора тамошнего университета, сообщившее мне о существовании никогда нигде не напечатанного сочинения чеха Хельчицкого XV века, под названием «Сеть веры». В сочинении этом, как писал мне профессор, Хельчицкий около 4-х веков тому назад высказывал тот же взгляд на истинное и ложное христианство, который высказывал и я в сочинении «В чем моя вера?». Профессор писал мне, что сочинение Хельчицкого должно было быть издано в первый раз на чешском языке в журнале Петербургской академии наук. Не имея возможности достать самое сочинение, я постарался познакомиться с тем, что известно о Хельчицком, и такие сведения я получил из немецкой книги, присланной мне тем же пражским профессором, и из истории чешской литературы Пыпина. Вот что сказано у Пыпина:

«Сеть веры» есть учение Христово, которое должно извлекать человека из темной глубины житейского моря и его неправд. Истинная вера состоит в том, чтобы верить Божьим словам; но теперь пришло такое время, что люди истинную веру принимают за ересь, и поэтому разум должен указать, в чем состоит истинная вера, если кто этого не знает. Тьма закрыла ее от людей, и они не узнают истинного закона Христа».

«Для объяснения этого закона Хельчицкий указывает на первобытное устройство христианского общества, — то устройство, которое, говорит он, считается теперь в римской церкви гнусным еретичеством».

«Эта первобытная церковь была его собственным идеалом общественного устройства, основанного на равенстве, свободе и братстве. Христианство, по мнению Хельчицкого, до сих пор хранит в себе эти основания, нужно только, чтоб общество возвратилось к его чистому учению, и тогда оказался бы излишним всякий иной порядок, которому нужны короли и папы: во всем достаточно одного закона любви...»

«Исторически Хельчицкий относит упадок христианства ко времени Константина Великого, которого папа Сильвестр ввел в христианство со всеми языческими нравами и жизнью. Константин, в свою очередь, наделил папу светским богатством и властью. С тех пор обе власти постоянно помогали друг другу и стремились только к внешней

славе. Доктора и магистры и духовное сословие стали заботиться только о том, чтобы покорить весь свет своему владычеству, вооружали людей друг против друга на убийства и грабежи и совсем уничтожали христианство в вере и в жизни. Хельчицкий совершенно отвергает право войны и смертную казнь: всякий воин, даже и „рыцарь“, есть только насильник, злодей и убийца».

То же, с некоторыми биографическими подробностями и выдержками из переписки Хельчицкого, сказано в немецкой книге.

Узнав, таким образом, сущность учения Хельчицкого, я с тем большим нетерпением ожидал появления «Сети веры» в журнале Академии. Но прошел год, два, три — книга не появлялась. Только в 1888 году я узнал, что начатое печатание книги приостановилось. Я достал корректурные листы того, что было отпечатано, и прочел книгу. Книга во всех отношениях удивительная.

Содержание ее совершенно верно передано Пыпиным. Основная мысль Хельчицкого та, что христианство, соединившись с властью при Константине и продолжая развиваться в этих условиях, совершенно извратилось и перестало быть христианством. Заглавие «Сеть веры» дано Хельчицким его сочинению потому, что, взяв эпитафией стих Евангелия о призвании учеников с тем, чтобы они стали ловцами людей, Хельчицкий, продолжая это сравнение, говорит: «Христос посредством учеников захватил в свою сеть веры весь мир, но большие рыбы, пробив сеть, выскочили из нее и в проделанные этими большими рыбами дыры ушли и все остальные, так что сеть осталась почти пустая».

Большие рыбы, пробившие сеть, это властители, императоры, папы, короли, которые, не отказываясь от власти, приняли не христианство, а только личину его.

Хельчицкий учит тому же, чему учили и учат теперь непротивляющиеся менониты, квакеры, в прежние времена — богомилы, павликиане и многие другие. Он учит тому, что христианство, требующее от своих последователей кротости, смирения, незлобия, прощения обид, подставления другой щеки, когда бьют по одной, любви к врагам, — несовместимо с насилием, составляющим необходимое условие власти.

Христианин, по толкованию Хельчицкого, не только не может быть начальником или солдатом, но не может принимать никакого участия в управлении, не может быть торговцем или даже землевладельцем, а может быть только или ремесленником, или земледельцем.

Книга эта — одна из редких, уцелевших от костров книг, обличающих официальное христианство. Все такие книги, называемые еретическими, сожжены вместе с авторами, так что древних сочинений, обличающих отступление официального христианства, очень мало, и потому эта книга особенно интересна.

Но, кроме того, что она интересна, как ни смотреть на нее, книга эта есть одно из замечательнейших произведений мысли и по глубине содержания, и по удивительной силе и красоте народного языка, и по древности. А между тем книга эта остается, вот уже более четырех веков, ненапечатанной и продолжает быть неизвестной, за исключением ученых специалистов.

Казалось бы, что все такого рода сочинения и квакеров, и Гаррисона, и Баллу, и Хельчицкого, утверждающие и доказывающие на основании Евангелия, что наш мир ложно понимает учение Христа, должны бы возбуждать интерес, волнение, шум, споры в среде как пастырей, так и пасомых.

Сочинения такого рода, затрагивающие самую сущность христианского учения, должны бы были, казалось, быть разобраны и признаны справедливыми или отвергнуты и опровергнуты.

Но ничего подобного нет. Со всеми этими сочинениями повторяется одно и то же. Люди самых разных взглядов, как верующие, так и — что достойно удивления — неверующие либералы, как бы сговорившись, все одинаково упорно молчат о них, и все то, что делается людьми для разъяснения истинного смысла учения Христа, остается неизвестным или забытым.

Но еще более удивительна неизвестность двух сочинений, о которых я узнал тоже по случаю появления моей книги. Это книга Dymond'a «On war» — «О войне», изданная в первый раз в Лондоне в 1824 году и Daniel Musser'a «О непротивлении», написанная в 1864 году.

Неизвестность этих книг удивительна особенно потому, что, не говоря о достоинстве их, обе книги трактуют не столько о теории, сколько о практическом применении теории к жизни, отношении христианства к военной службе, что теперь особенно важно и интересно при общей воинской повинности.

Спросят, может быть: как же обязан поступить подданный, который верит, что война несовместима с его религией, но от которого правительство требует участия в военной службе?

Кажется, что это вопрос самый живой и такой, на который ответ при теперешней общей воинской повинности особенно важен. Все или огромное большинство людей — христиане, и все мужчины призываются к военной службе. Как же должен человек, как христианин, отвечать на это требование? Ответ Dymond'a такой:

«Обязанность его состоит в том, чтобы с кротостью, но и с твердостью отказаться от службы».

«Есть некоторые люди, которые без всякого определенного рассуждения прямо почему-то заключают, что ответственность за государственные меры ложится только на тех, которые распоряжаются, или что правительство и цари решают вопросы о том, что хорошо или дурно для подданных, и что подданные обязаны только повиноваться. Я думаю, что рассуждения такого рода только отуманивают совесть людей. „Я не могу не участвовать в совете правительства и потому не ответственен в его преступлениях“. Правда, мы не ответственны в преступлениях правителей, но мы ответственны в своих собственных преступлениях. И преступления правителей делаются нашими, если мы, зная, что это преступления, содействуем их совершению... Те, которые полагают, что они обязаны повиноваться правительству и что ответственность за совершаемые ими преступления переносится с них на их государей, сами себя обманывают».

«Говорят: „Мы передаем свои поступки воле других людей, и наши поступки не могут быть ни дурными, ни хорошими; в наших поступках не может быть ни заслуги за доброе, ни ответственности за злое, так как они совершаются не по нашей воле“.

Замечательно, что это самое выражено в наставлении солдатам, которое их заставляют заучивать: там сказано, что только начальник отвечает за последствия своего приказа.

Но это несправедливо. Человек не может снять с себя ответственности за свои поступки. И это видно из следующего:

«Если начальник велит вам убить ребенка вашего соседа, убить вашего отца, вашу мать, послушаетесь ли вы? Если же вы не послушаетесь, то и все рассуждение никуда не годится, потому что если вы можете не послушаться правителей в одном случае, то где же вы найдете тот предел, до которого вы можете повиноваться? Нет другого предела, кроме того, который определен христианством, и предел этот и разумен и исполним».

«И потому мы полагаем, что обязанность каждого человека, считающего, что война несовместима с христианством, — кротко, но твердо отказаться от военной службы. И пусть те, которым приходится так поступать, пусть они помнят, что на них лежит великая обязанность. От их верности своей религии зависит — настолько, насколько она зависит от людей, — судьба мира в человечестве. Пускай они исповедуют свое убеждение и защищают его. И не одними словами, но и страданиями, если то будет нужно. Если вы верите, что Христос запретил убийство, не верьте ни суждениям, ни приказам людей, призывающих вас к участию в нем. Таким твердым отказом от участия в насилии вы привлечете к себе благословение, данное тем, которые слышат слова эти и исполняют их, и придет время, когда и мир почтит вас как участников в возрождении человечества».

Книга Мосера называется «Утверждение непротивления» или «Разделение царства Христа и царства мира сего», в 1864.

Книга эта посвящена тому же вопросу и разъясняет его по случаю требования американским правительством от своих граждан военной службы во время междуусобной войны. И тоже имеет самое современное значение, разъясняя вопрос о том, как, при каких условиях люди должны и могут отказываться от военной службы. В вступлении автор говорит:

«Известно, что в Соединенных Штатах есть много людей, сознательно отрицающих войну. Их называют „непротивляющимися“ или „беззащитными“ христианами. Эти христиане отказываются защищать свою страну, носить оружие и, по требованию правительства, воевать против его врагов. До сих пор эта религиозная причина была уважаема правительством, и те, которые выставляли ее, были освобождены от службы. Но с началом нашей междуусобной войны общественное мнение возмущено этим обстоятельством. Естественно, что лица, считающие своей обязанностью нести все тяжести и опасности военной жизни для защиты своего отечества, чувствуют недоброжелательство к тем лицам, которые вместе с ними в продолжение долгого времени пользовались покровительством и выгодами правительства; во время же нужд и опасности не хотят участвовать в несении трудов и опасности для защиты его. Естественно даже и то, что положение таких людей признают неразумным, уродливым и признают его подозрительным».

«Много ораторов и писателей, — говорит автор, — восстали против такого положения и старались доказать несправедливость непротивления и по здравому смыслу и по писанию; и это совершенно естественно, и во многих случаях эти писатели правы, — правы в отношении к лицам, которые, отказываясь от трудов военной службы, не отказываются от выгод, получаемых ими от правительств, но — не правы по отношению самого принципа „непротивления“. Прежде всего автор доказывает обязательность для христианина правила непротивления тем, что предписание это ясно и что оно без возможности перетолкования дано Христом всякому христианину.

«Судите сами, справедливо ли повиноваться человеку более, чем Богу», — сказали Петр и Иоанн. И точно так же всякий человек, желающий быть христианином, должен относиться к требованиям идти на войну, когда Христос сказал ему: «Не противься злу насилием».

Этим вопрос о самом принципе автор считает решенным. Но другой вопрос, о том, имеют ли право отказаться от военной службы лица, не отказывающиеся от выгод, даваемых насилием правительства, автор разбирает подробно и приходит к заключению, что христианин, следующий закону Христа, если он не идет на войну, не может точно так же принимать участия ни в каких правительственных распоряжениях: ни в судах, ни в выборах, — не может точно так же и в личных делах прибегать к власти, полиции или суду. — Далее в книге разбирается отношение Ветхого Завета к Новому, значение правительства для нехристиан; представляются возражения на учение непротивления и опровержения их. Заканчивает свою книгу автор следующим:

«Христане не нуждаются в правительстве и потому не могут: ни повиноваться ему в том, что противно учению Христа, ни, тем менее, участвовать в нем».

«Христос избрал своих учеников из мира, — говорит он, — они не ожидают мирских благ и мирского счастья, а, напротив, они ожидают жизни вечной. Дух, в котором они живут, делает их довольными и счастливыми во всяком положении. Если мир терпит их, они всегда довольны. Если же мир не хочет оставить их в покое, то они уйдут в другое место, так как они странники на земле и у них нет определенного места жительства. Они считают, что мертвые могут хоронить своих мертвецов, им же нужно одно: „следовать за своим учителем“.

Не касаясь вопроса о том, верно или неверно определение обязанности христианина по отношению к войне, которая устанавливается в обеих книгах, нельзя не видеть практической

важности и настоятельности решения этого вопроса.

Есть люди — есть сотни тысяч квакеров, есть менониты, есть все наши духоборцы, молокане и люди, не принадлежащие ни к каким определенным сектам, которые считают, что насилие, а потому и военная служба — несовместимы с христианством, и потому каждый год у нас в России несколько призываемых людей отказываются от военной службы на основании своих религиозных убеждений. Как же поступает правительство? Отпускает их? — Нет. Заставляет их идти и, в случае несогласия, наказывает их? — Нет. В 1818 году правительство поступило следующим образом. Вот никому почти в России не известная выписка из дневника Ник. Ник. Муравьева-Карского, не пропущенная цензурой:

*2 октября 1818 г. Тифлис.*

Поутру комендант сказал мне, что недавно прислано в Грузию пять крестьян помещичьих Тамбовской губернии. Сии люди были в солдаты сданы, но не хотят служить; их уже несколько раз кнутом секли и сквозь строй гнали, но они отдают себя охотно на самые жестокие мучения и на смерть, дабы не служить. «Отпустите нас, — говорят они, — и не троньте нас, мы никого трогать не будем. Все люди равны, и государь тот же человек, как и мы; зачем мы будем ему подати платить, зачем я буду подвергать свою жизнь опасности, чтобы убить на войне человека, мне не сделавшего никакого зла? Вы можете нас по кускам резать, а мы не переменим своих мыслей, не наденем шинели и не будем пайка есть. Тот, который над нами сжалится, даст нам милостыню, а казенного мы ничего не имели и иметь не хотим». Вот слова сих мужиков, которые уверяют, что им подобных есть множество в России. Их четыре раза водили в Комитет министров и, наконец, решились о том представить государю, который приказал для поправления отправить их в Грузию и предписал главнокомандующему доносить ему ежемесячно о постепенных успехах для приведения сих крестьян к настоящим мыслям».

Чем кончилось это поправление — неизвестно, так как неизвестен и весь эпизод, содержащийся в глубокой тайне.

Так поступало правительство 75 лет тому назад, — так поступало оно в большом количестве случаев, всегда старательно скрываемых от народа. Так же поступает оно и теперь, за исключением немцев-менонитов, живущих в Херсонской губернии, отказ которых от военной службы признается уважительным и которых заставляют отбывать сроки службы в работах при лесничестве.

В тех недавних случаях отказа от военной службы, вследствие религиозных убеждений неменонитов, правительственные лица поступали так:

Сначала прилагают все употребляемые в наше время меры насилия для «поправления» отказывающихся и приведения их «к настоящим мыслям» и держат производство этих дел в величайшей тайне. Я знаю, что про одного из отказавшихся в 1884 году в Москве через два месяца после его отказа составилось огромное, толстое дело, хранившееся в министерстве под величайшим секретом.

Начинается обыкновенно с того, что отказывающегося посылают к священникам и, к стыду их, они всегда увещевают отказывающихся. — Но так как увещание во имя Христа — отречься от Христа бывает большей частью безуспешным, то отказавшегося после увещания духовных лиц посылают к жандармам. Жандармы обыкновенно, не находя ничего политического, возвращают его назад, и тогда отказавшегося посылают к ученым, к врачам и в сумасшедший дом. Во всех этих пересылках отказывающийся, лишенный свободы, терпит всякого рода унижения и страдания, как приговоренный преступник (это повторялось в четырех случаях). Из сумасшедшего дома доктора выпускают отказавшегося, и тогда начинаются всякие тайные, хитрые меры, чтобы и не отпустить отказавшегося, поощрив тем других отказываться так же, как и он, и вместе с тем не оставить его среди солдат, чтобы и солдаты не узнали от него того, что призвание их к военной службе совершается совсем не по закону Бога, как их уверяют, а против него.

Самое удобное для правительства было бы казнить отказавшегося: засечь палками или каким-нибудь иным способом, как это делалось прежде. Но казнить открыто человека за то, что

он верен учению, которое мы сами исповедуем, — нельзя. Оставить же человека, отказывающегося от повиновения, тоже нельзя. И вот правительство старается или страданиями заставить этого человека отречься от Христа, или как-нибудь незаметно избавиться от него, не казня его открыто, скрыть как-нибудь и поступок этого человека и его самого от других людей. И начинаются всякого рода уловки и хитрости и мучения этого человека. Или ссылают этого человека на окраины, или вызывают на непослушание и тогда судят за нарушение дисциплины и запирают в тюрьму, дисциплинированный батальон, где уже тайно от всех свободно мучают его, или признают сумасшедшим и запирают в дом умалишенных. Так, одного сослали в Ташкент, т. е. как будто перевели в Ташкентское войско, другого в Омск, третьего судили за непослушание и заперли в тюрьму, четвертого в дом умалишенных.

Везде повторяется одно и то же. Не только правительство, но и большинство либеральных, свободно мыслящих людей, как бы сговорившись, старательно отворачиваются от всего того, что говорилось, писалось, делалось и делается людьми для обличения несовместимости насилия в самой ужасной, грубой и яркой его форме — в форме солдатства, т. е. готовности убийства кого бы то ни было, — с учением не только христианства, но хотя бы гуманности, которое общество будто бы исповедует.

Так что сведения, полученные мною о том, в какой степени уже давно разъяснено и всё больше и больше разъясняется истинное значение учения Христа, и о том, как относятся к этому разъяснению и исполнению учения высшие, правящие классы не только России, но в Европе и в Америке, убедили меня в том, что существует в этих правящих классах сознательно враждебное отношение к истинному христианству, выражающееся преимущественно замалчиванием всех проявлений его.

## II

Такое же впечатление желания скрыть, замолчать то, что я старался высказать в своей книге, произвели во мне и суждения о ней.

Книга по выходе ее, как я и ожидал, была запрещена и по закону должна была быть сожжена. Но книга вместо сожжения была разобрана чиновниками и распространилась в большом количестве списков и литографных оттисков и в переводах, напечатанных за границей.

И очень скоро на книгу появились критики, не только духовные, но и светские, которые правительство не только допускало, но и поощряло. Так что даже опровержение книги, которая считалась никому не известной, назначено было темой богословских сочинений в академиях.

Критики на мою книгу, как русские, так и иностранные, разделяются на два главные рода: критики религиозные — людей, считающих себя верующими, и критики светские — вольнодумные.

Начну с первых:

В книге моей я обвиняю церковных учителей в том, что они учат противно заповедям Христа, ясно и определенно выраженным в нагорной проповеди, и особенно противно заповеди о непротивлении злу и лишают этим учение Христа всего его значения. Церковные учителя признают нагорную проповедь с заповедью о непротивлении злу насилием Божественным откровением и потому, если они уже раз нашли нужным писать о моей книге, то, казалось бы, им необходимо было прежде всего ответить на этот главный пункт обвинения и прямо высказать, признают или не признают они обязательным для христианина учение нагорной проповеди и заповедь о непротивлении злу насилием, и отвечать не так, как это обыкновенно делается, т. е. сказать, что хотя, с одной стороны, нельзя собственно отрицать, но, с другой стороны, опять-таки нельзя утверждать, тем более, что и т. д., а ответить так же, как поставлен вопрос в моей книге: действительно ли Христос требовал от своих учеников исполнения того, чему он учил в нагорной проповеди, и потому, может или не может христианин, оставаясь христианином, идти в суд, участвуя в нем, осуждая людей или ища в нем защиты силой, может или не может христианин, оставаясь христианином, участвовать в управлении, употребляя насилие против своих ближних, и самый главный, всем предстоящий теперь с общей воинской повинностью, вопрос — может или не может христианин, оставаясь христианином, противно прямому указанию Христа обещаться в будущих поступках, прямо противных учению, и,

участвуя в военной службе, готовиться к убийству людей или совершать их?

Вопросы поставлены ясно и прямо, и, казалось, надобно ясно и прямо ответить на них. Но во всех критиках на мою книгу ничего подобного не было сделано, точно так же как не было сделано и по отношению всех тех обличений церковных учителей в отступлении их от закона Христа, которыми со времен Константина полна история.

Очень много было говорено по случаю моей книги о том, как я неправильно толкую те и другие места Евангелия, о том, как я заблуждаюсь, не признавая троицы, искупления и бессмертия души; говорено было очень многое, но только не то одно, что для всякого христианина составляет главный, существенный вопрос жизни: как соединить ясно выраженное в словах учителя и в сердце каждого из нас учение о прощении, смирении, отречении и любви ко всем: к ближним и к врагам, с требованием военного насилия над людьми своего или чужого народа.

Все, что можно назвать подобиями ответов на этот вопрос, можно свести к следующим пяти разрядам. Я старался собрать в этом отношении все, что мог, не только по критикам на мою книгу, но и по всему тому, что и в прежние времена писалось на эту тему.

Первый самый грубый способ ответа состоит в смелом утверждении того, что насилие не противоречит учению Христа, что оно разрешено и даже предписано христианам Ветхим и Новым Заветом.

Этого рода утверждения исходят большею частью от людей, находящихся на высоких ступенях правительственной или духовной иерархии и вследствие этого совершенно уверенных, что на их утверждения возражать никто не посмеет, а если кто и будет возражать, то они не услышат этих возражений. Люди эти большею частью до такой степени, вследствие одурманения властью, потеряли представление о том, что есть то христианство, во имя которого они занимают свое положение, что все то, что есть в христианстве христианского, представляется им сектантством; все же то, что в писании как Ветхого, так и Нового Завета может быть перетолковано в смысле антихристианском и языческом, они считают основанием христианства. В пользу своего утверждения о том, что христианство не противоречит насилию, эти люди выставляют обыкновенно с величайшей смелостью самые соблазнительные места из Ветхого и Нового Завета, самым нехристианским образом толкуя их: казнь Анания и Сапфиры, казнь Симона Волхва и т.п. — Приводятся все те слова Христа, которые можно перетолковать как оправдание жестокости: изгнание из храма, «Отраднее будет земле содомской, чем городу этому» и т.д.

По понятиям этих людей, христианское правительство нисколько не обязано руководиться духом смирения, прощения обид и любви к врагам.

Опровергать такое утверждение бесполезно потому, что люди, утверждающие это, сами себя опровергают или, скорее, отвергают себя от Христа, выдумывая своего Христа и свое христианство вместо того, во имя которого и существует и церковь и то положение, которое они в ней занимают. Если бы все люди знали, что церковь проповедует Христа казнящего и не прощающего и воюющего, то никто бы не верил в эту церковь и некому было бы доказывать то, что она доказывает.

Второй способ, несколько менее грубый, состоит в том, чтобы утверждать, что хотя действительно Христос учил подставлять щеку и отдавать кафтан и что очень высокое нравственное требование, но... что есть на свете злодеи, и если не усмирять силой этих злодеев, то погибнет весь мир и погибнут добрые. Довод этот я нашел в первый раз у Иоанна Златоуста и выставляю несправедливость его в книге «В чем моя вера?».

Довод этот неоснователен потому, что если мы позволим себе признать каких-либо людей злодеями особенными (рака), то, во-первых, мы этим уничтожаем весь смысл христианского учения, по которому все мы равны и братья как сыны одного Отца Небесного; во-вторых, потому, что если бы и было разрешено Богом употреблять насилие против злодеев, то так как никак нельзя найти того верного и несомненного определения, по которому можно наверное узнать злодея от незлодея, то каждый человек или общество людей стало бы признавать взаимно друг друга злодеями, что и есть теперь; в-третьих, потому, что если бы и было возможно несомненно узнавать злодеев от незлодеев, то и тогда нельзя бы было в христианском обществе казнить, или калечить, или запирасть в тюрьмах этих злодеев, потому что в

христианском обществе некому бы было исполнять это, так как каждому христианину, как христианину, предписано не делать насилия над злодеем.

Третий способ ответов, еще более тонкий, чем предыдущий, состоит в утверждении того, что хотя заповедь о непротивлении злу насиліем и обязательна для христианина, когда зло направлено лично против него, она перестает быть обязательной, когда зло направлено против ближних, и что тогда христианин не только не обязан исполнять заповеди, но обязан для защиты ближних противно заповеди употреблять насиліе против насилующих.

Утверждение это совершенно произвольно, и во всем учении Христа нельзя найти подтверждения такому толкованию. Такое толкование есть не только ограничение заповеди, но прямое отрицание и уничтожение ее. Если каждый имеет право употреблять насиліе при угрожающей другому опасности, то вопрос об употреблении насилия сводится к вопросу определения того, что считать опасностью для другого. Если же мое частное суждение решает вопрос опасности для другого, то нет того случая насилия, которого нельзя бы было объяснить угрожающей другому опасностью. Казнили и сжигали колдунов, казнили аристократов и жирондистов, казнили и их врагов, потому что те, которые были во власти, считали их опасными для людей.

Если бы это важное ограничение, в корне подрывающее значение заповеди, входило в мысль Христа, то о нем должно было быть где-нибудь упомянуто. Во всей же проповеди и жизни учителя не только не сделано этого ограничения, но, напротив, как раз дано предостережение против такого ложного и соблазнительного, уничтожающего заповедь ограничения. Ошибка и невозможность такого ограничения с особенной яркостью показана в Евангелии при рассказе о рассуждении Каиафы, сделавшего именно это ограничение. Он признавал, что нехорошо казнить невинного Иисуса, но видел в этом опасность не для себя, но для всего народа и потому сказал: «лучше погибнуть одному человеку, чем всему народу». И еще ярче высказано отрицание такого ограничения в словах, сказанных Петру при его попытке воспротивиться насиліем злу, направленному против Иисуса (Мф. XXVI, 52). Петр защищал не себя, но своего любимого и божественного учителя. И Христос прямо запретил ему это, сказав, что поднявший меч от меча погибнет.

Кроме того, оправдание насилия, употребляемого над ближним для защиты другого ближнего от худшего насилия, всегда неверно, потому что никогда при употреблении насилия против не совершившегося еще зла нельзя знать, какое зло будет больше — зло ли моего насилия или того, от которого я хочу защищать. Мы казним преступника, избавляя от него общество, и никак не можем знать, не изменился ли бы завтра бывший преступник и не есть ли наша казнь бесполезная жестокость. Мы запираем опасного, по нашему мнению, члена общества, но с завтрашнего дня этот человек мог перестать быть опасным и заключение его напрасно. Я вижу, что известный мне разбойник преследует девушку, у меня в руке ружье — я убиваю разбойника, спасаю девушку, но смерть или поранение разбойника совершилось наверное, то же, что бы произошло, если бы этого не было, мне неизвестно. А какое огромное количество зла должно произойти, как оно и происходит, — от признания людьми за собой права предупреждать могущее случиться зло. 0,99 зла мира от инквизиции до динамитных бомб и казней и страданий десятков тысяч так называемых политических преступников основано на этом рассуждении.

Четвертый, еще более утонченный ответ на вопрос, как должно относиться христианину к заповеди Христа о непротивлении злу насиліем, состоит в том, чтобы утверждать, что заповедь непротивления злу насиліем не отрицается ими, а признается, как и всякая другая, но что они только не приписывают этой заповеди особенного, исключительного значения, как это делают сектанты. Приписывание этой заповеди неизменного условия христианской жизни, как это делают Гаррисон, Баллу, Даймонд, квакеры, менониты, шекеры и как это делали моравские братья, вальденцы, альбигойцы, богомилы, павликиане, — есть одностороннее сектантство. Заповедь эта имеет ни больше, ни меньше значения, чем и все другие, и человек, преступивший по слабости какую бы то ни было заповедь, а также и заповедь о непротивлении, не перестает быть христианином, если он правильно верит.

Изворот этот очень искусен, и многие люди, желающие быть обманутыми, легко обманываются им. Изворот состоит в том, чтобы прямое сознательное отрицание заповеди



свести к случайному нарушению ее. Но стоит только сравнить отношение церковных учителей к этой и к другим действительно признаваемым ими заповедям, чтобы убедиться в том, что отношение церковных учителей к заповедям, которые они признают, и к этой — совершенно различно.

Заповедь против блуда они действительно признают и потому никогда ни в каком случае не признают того, чтобы блуд не был злом. Никогда церковные проповедники не указывают случаев, когда заповедь против блуда должна бы была нарушаться, и всегда поучают тому, что должно избегать соблазнов, вводящих в искушение против блуда. Но не то с заповедью непротивления. Все церковные проповедники знают случаи, когда заповедь эта может быть нарушена. И так и учат людей. И не только не учат избегать этих соблазнов, из которых главный есть присяга, но сами производят его. Церковные проповедники никогда ни в каком случае не проповедают нарушения всякой другой заповеди. По отношению же заповеди о непротивлении они прямо учат тому, что не надо слишком прямо понимать это запрещение, что не только не всегда нужно исполнять заповедь, но что есть условия, положения, в которых нужно делать прямо противное, т.е. судить, воевать, казнить. Так что по случаю заповеди о непротивлении злу насилеи проповедуется в большей части случаев о том, как не исполнять ее. Исполнение этой заповеди, говорят они, очень трудно и свойственно только совершенству. Но как же ей быть не трудной, когда нарушение ее не только не запрещается, но прямо поощряется, когда прямо благословляются суды, тюрьмы, пушки, ружья, войска, сражения.

Стало быть, неправда то, что заповедь эта признается церковными проповедниками наравне с другими заповедями. Церковные проповедники прямо не признают ее и, только не смея сознаться в этом, стараются скрыть свое непризнание ее.

Таков четвертый способ ответов.

Пятый способ, самый тонкий, самый употребительный и самый могущественный, состоит в уклонении от ответа, в делании вида, что вопрос этот кем-то давным-давно разрешен вполне ясно и удовлетворительно и что говорить об этом не стоит.

Этот способ употребляется всеми более или менее культурными духовными писателями, т.е. такими, которые чувствуют для себя обязательными законы логики. Зная, что противоречие, существующее между чтением Христа, которое мы на словах исповедуем, и всем строем нашей жизни, нельзя распутать словами и, касаясь его, можно только сделать его еще очевиднее, они с большей или меньшей ловкостью, делая вид, что вопрос о соединении христианства с насилеи уже разрешен или вовсе не существует, обходят его<sup>1</sup>.

Большинство духовных критиков на мою книгу пользуются этим способом. Я бы мог привести десятки таких критик, в которых без исключения повторяется одно и то же: говорится обо всем, но только не о том, что составляет главный предмет книги. Как характерный пример таких критик приведу статью знаменитого, утонченного английского писателя и проповедника Фаррара, великого, как и многие ученые богословы, мастера обходов и умолчаний. Статья эта напечатана в американском журнале «*Forum*» за октябрь 1888 года.

Изложив добросовестно вкратце содержание моей книги, Фаррар говорит:

«Толстой пришел к убеждению, что мир был грубо обманут, когда людей уверили, что учение Христа „не противься злу или злом“ совместимо с войной, судами, смертной казнью, разводами, клятвой, народными пристрастиями и вообще с большинством учреждений гражданской и общественной жизни. Он верит теперь, что Царство Бога наступит тогда, когда люди будут исполнять 5 заповедей Христа, именно: 1) жить в мире со всеми людьми; 2) вести чистую жизнь; 3) не клясться; 4) никогда не противиться злу и 5) отказываться от народных

<sup>1</sup> Знаю только одну не критику в точном смысле слова, но статью, трактующую о том же предмете и имеющую в виду мою книгу, немного отступающую от этого общего определения. Это брошюра Троицкого (Казань) «Нагорная беседа». Автор, очевидно, признает учение Христа в его настоящем значении. Он говорит, что заповедь о непротивлении злу насилеи значит то самое, что она значит, тоже и о заповеди о клятве; он не отрицает, как это делают другие, значение учения Христа, но, к сожалению, не делает из этого признания тех неизбежных выводов, которые в нашей жизни сами собой напрашиваются при таком понимании учения Христа. Если противиться злу насилеи и клясться не должно, то всякий естественно спрашивает: как же военная служба? Присяга? А вот на этот вопрос автор не дает ответа, а надо ответить. А если нельзя ответить, то лучше и не говорить, потому что умолчание производит заблуждение.

различий».

«Толстой, говорит он, отрицает боговдохновенность Ветхого Завета, посланий, отрицает все догматы церкви, как-то: троицы, искупления, сошествия св. духа, священства, и признает только слова и заповеди Христа». «Но верно ли такое толкование учения Христа? — говорит он. — Обязаны ли все люди поступать так, как учит Толстой, т.е. исполнять 5 заповедей Христа?»

Так и ждешь, что на этот существенный вопрос, который один только и мог побудить человека писать статью о книге, человек скажет, что это толкование учения Христа верно и что надо следовать ему, или скажет, что такое толкование неверно; докажет, почему, и даст другое правильное толкование тех слов, которые я неправильно толкую. Но ничего подобного не делается. Фаррар выражает только «убеждение», что — «Толстой, хотя и руководимый самой благородной искренностью, впал в заблуждение частных и односторонних толкований смысла Евангелия и разума (mind) и воли Христа».

В чем это заблуждение, не разъясняется, а говорится только: «Входить в доказательства этого невозможно в этой статье, потому что я уже и так превзошел количество листов, предоставленных мне».

И он с спокойным духом заключает:

«Между тем, если читатель чувствует себя смущенным мыслью о том, что он обязан, как христианин, так же как и Толстой, покинуть свои привычные условия жизни и жить как простой работник, то пусть он успокоится и держится принципа: „Securus judicat ordis terrarum“ [Весь мир судить легкомысленно]. За малыми исключениями, — продолжает он, — все христианство от апостольских времен и до наших дней пришло к убеждению, что цель Христа состояла в том, чтобы дать людям великий принцип, но не в том, чтобы разрушить основы учреждения всего человеческого общества, которое утверждается на Божеском установлении (sanction) и на необходимости. Если бы моей задачей было доказать, как невозможно учение коммунизма, основываемое Толстым на Божественных парадоксах (sic), которые могут быть истолковываемы только на основании исторических принципов в согласии со всеми методами учения Христа, — это потребовало бы более места, чем я имею в своем распоряжении».

Экое горе, места ему нет! И странное дело, никому вот уже 15 веков нет места доказать то, что Христос, которого мы исповедуем, говорил совсем не то, что он говорил. А доказать они могли бы, если бы захотели. Впрочем, и не стоит доказывать то, что всем известно. Довольно сказать: «Securus judicat ordis terrarum».

Таковы без исключения все критики культурных верующих людей и потому понимающих опасность своего положения. Единственный выход из него для них — надежда на то, что, пользуясь авторитетом церкви, древности, святости, можно запугать читателя, своим умом обдумать вопрос. И это удается.

Кому в самом деле придет в голову то, что все то, что с такой уверенностью и торжественностью повторяется из века в век всеми этими архидамиакнами, епископами, архиепископами, святейшими синодами и папами, что все это есть гнусная ложь и клевета, взводимая ими на Христа для обеспечения денег, которые им нужны для сладкой жизни на шеях других людей, — ложь и клевета до такой степени очевидная, особенно теперь, что единственная возможность продолжать эту ложь состоит в том, чтобы запугивать людей своей уверенностью, своей бессовестностью.

Это всё то же, что происходило последние годы в воинских присутствиях: сидят за столом за зеркалом, на первых местах, под портретом во весь рост императора, старые, важные, в регалиях чиновники и свободно, развязно беседуют, записывают, приказывают и вызывают. Тут же в наперсном кресте и шелковой рясе с выпростанными седыми волосами на эпитрахилии благообразный старец священник перед аналоем, на котором лежит золотой крест с кованным в золоте Евангелием.

Вызывают Ивана Петрова. Выходит юноша, дурно, грязно одетый, испуганный, с дрожащими мускулами лица и блестящими бегающими глазами и прерывающимся голосом, шепотом почти говорит: «я... по закону... я, как христианин... я не могу...»

— Что он бормочет? — спрашивает нетерпеливо, щурясь и прислушиваясь, председатель, поднимая голову от книги.

— Говорите громче! — кричит на него полковник с блестящими погонами.

— Я... я... как христианин...

И, наконец, оказывается, что юноша отказывается от военной службы, потому что он христианин.

— Не говори вздору. Ставь в мерку. Доктор, потрудитесь смерить. Годится?

— Годится.

— Батюшка, Приведите к присяге.

Никто не только не смущен, но даже не обращает внимания на то, что лопочет этот испуганный, жалкий юноша. «Они все что-нибудь лопочат, а нам некогда, надо еще столько принять».

Рекрут что-то хочет сказать еще. — «Это против закона Христа».

— Ступайте, ступайте, без вас знают, что по закону, что не по закону, а вы отправляйтесь. Батюшка, внушите ему. Следующий: Василий Никитин.

И дрожащего юношу уводят. И кому, и сторожам, и Василию Никитину, которого вводят, и всем, которые со стороны видели эту сцену, придет в голову, что те неясные короткие слова юноши, тотчас же замятые начальством, содержат в себе истину, а те громкие, торжественно произносимые речи самоуверенных, спокойных чиновников и священника суть ложь, обман.

Такое же впечатление производят статьи не одного Фаррара, но все те торжественные проповеди, статьи и книги, которые появляются со всех сторон, как только где-нибудь проглянет истина, обличающая царствующую ложь. Тотчас же начинаются длинные, умные, изящные, торжественные разговоры или писания о вопросах, близко касающихся предмета с искусным умолчанием о самом предмете.

В этом состоит пятый и самый действительный способ устранения того противоречия, в которое поставило себя церковное христианство, исповедуя на словах Христа и отрицая в жизни его учение и научая этому людей.

Те, которые оправдываются по первому способу, прямо, грубо утверждая, что Христос разрешил насилие: войны, убийства, — сами себя отвергают от учения Христа; те, которые защищаются по второму, третьему и четвертому способу, сами путаются, и их легко уличить в их неправде, но эти последние, не рассуждающие, не устаивающие рассуждать, а прячущиеся за свое величие и делающие вид, что все это ими или еще кем-то уже давно решено и не подлежит уже никакому сомнению, — эти кажутся неуязвимыми и будут неуязвимы до тех пор, пока люди будут находиться под действием гипнотического внушения, наводимого на них правительствами и церквами, и не встряхнутся от него.

Так относились к моей книге духовные, т.е. исповедующие веру в Христа. И иначе им нельзя было отнестись: их связывает то противоречие, в котором они находятся — веры в божественность учителя и неверия в его самые ясные слова, — из которого им надо как-нибудь выпутываться, и потому нельзя было ожидать от них свободных суждений о самой сущности вопроса, о том изменении жизни людей, которое вытекает из приложения учения Христа к существующему порядку. Такого рода суждений я ожидал от светских, вольнодумных критиков, которые ничем не связаны с учением Христа и могут свободно смотреть на него. Я ожидал, что вольнодумные писатели посмотрят на Христа не только как на установителя религии поклонения и личного спасения (как его понимают церковники), а, выражаясь их языком, и как на реформатора, разрушающего старые и дающего новые основы жизни, реформа которого не совершилась еще, а продолжается и до сих пор.

Такой взгляд на Христа и его учение вытекает из моей книги. Но, к удивлению моему, из числа в большом количестве появившихся на мою книгу критик, не было ни одной, ни русской, ни иностранной, которая трактовала бы предмет с той самой стороны, с которой он изложен в книге, т.е. которая посмотрела бы на учение Христа как на философское, нравственное и социальное (говоря опять языком научных людей) учение. Ни в одной критике этого не было.

Русские светские критики, поняв мою книгу так, что все ее содержание сводится к непротивлению злу, и поняв самое учение о непротивлении злу (вероятно, для удобства возражения) так, что оно будто бы запрещает всякую борьбу со злом, русские светские критики с раздражением напали на это учение и весьма успешно в продолжение нескольких лет доказывали, что учение Христа неправильно, так как оно запрещает противиться злу. Их

опровержения этого мнимого учения Христа были тем более успешны, что они вперед знали, что их рассуждения не могут быть ни опровергаемы, ни исправляемы, так как цензура, не пропустив книги, не пропускала и статей в защиту ее.

Замечательно при этом то, что у нас, где нельзя сказать слова о священном писании без запрета цензуры, несколько лет во всех журналах извращалась, критиковалась, осуждалась, осмеивалась прямо и точно выраженная заповедь Христа (Мф. V, 39).

Русские светские критики, очевидно, не зная всего того, что было сделано по разработке вопроса о непротивлении злу, и даже иногда как будто предполагая, что это я лично выдумал правило непротивления злу насилем, нападали на самую мысль, опровергая, извращая ее и с большим жаром выставляя аргументы, давным-давно уже со всех сторон разобранные и опровергнутые, доказывали, что человек непременно должен (насилием) защищать всех обиженных и угнетенных и что поэтому учение о непротивлении злу насилем есть учение безнравственное.

Всем русским критикам все значение проповеди Христа представлялось только в том, что она как будто им назло мешает известной деятельности, направленной против того, что ими в данную минуту считается злом, так что выходило, что на принцип непротивления злу насилем нападали два противоположные лагеря: консерваторы потому, что этот принцип препятствовал их деятельности противления злу, производимому революционерами, их преследованиям и казням; революционеры же потому, что этот принцип препятствовал противлению злу, производимому консерваторами, и их ниспровержению. Консерваторы возмущались тем, что учение о непротивлении злу насилем препятствует энергетическому подавлению революционных элементов, могущих погубить благосостояние народа; революционеры возмущались тем, что учение о непротивлении злу насилем препятствует ниспровержению консерваторов, губящих благосостояние народа. Замечательно при этом то, что революционеры нападали на принцип непротивления злу насилем, несмотря на то, что он самый страшный и опасный для всякого деспотизма, так как с тех пор, как стоит мир, на противоположном принципе, необходимости противления злу насилем, основывались и основываются все насилия, от инквизиции до Шлиссельбургской крепости.

Кроме того, русские критики указывали и на то, что приложение к жизни заповеди о непротивлении злу насилем своротило бы человечество с того пути цивилизации, по которому оно идет. Путь же цивилизации, по которому идет европейское человечество, есть, по их мнению, тот самый, по которому и должно всегда идти все человечество.

Таков был главный характер русских критиков.

Иностранные критики исходили из тех же основ, но рассуждения их о моей книге несколько отличались от рассуждений русских критиков не только меньшей раздражительностью и большей культурностью, но и по существу дела.

Рассуждая о моей книге и вообще о евангельском учении, как оно выражено в нагорной проповеди, иностранные критики утверждали, что такое учение не есть собственно христианское (христианское учение, по их мнению, есть католицизм и протестантство) — учение же нагорной проповеди есть только ряд очень милых непрактических мечтаний *du charmant docteur*, как говорит Ренан, годных для наивных и полудиких обитателей Галилеи, живущих за 1800 лет назад, и для русских полудиких мужиков — Сютаева, Бондарева и русского мистика Толстого, но никак не приложимых к высокой степени европейской культуры.

Иностранные светские критики тонким манером, не оскорбляя меня, старались дать почувствовать, что суждения мои о том, что человечество может руководиться таким наивным учением, как нагорная проповедь, происходят отчасти от моего невежества, незнания истории, незнания всех тех тщетных попыток осуществления в жизни принципов нагорной проповеди, которые были делаемы в истории и ни к чему не привели, отчасти от непонимания всего значения той высокой культуры, на которой со своими крупновскими пушками, бездымным порохом, колонизацией Африки, управлением Ирландии, парламентом, журналистикой, стачками, конституцией и Эйфелевой башней стоит теперь европейское человечество.

Так писал Vog'ue, так писал Leroy Beanlien, так писал Матью Арнольд, так писал американский писатель Савадж и Ингерзаль, популярный американский свободомыслящий проповедник, и многие другие.

«Учение Христа не годится, потому что не соответствует нашему индустриальному веку», — наивно говорит Ингерзаль, выражая этим с совершенной точностью и наивностью то самое, что думают утонченно образованные люди нашего времени об учении Христа. Учение не годится для нашего индустриального века, точно как будто то, что существует индустриальный век, есть дело священное, которое не должно и не может быть изменено. Вроде того, как если бы пьяницы против советов о том, как им привести себя в трезвое состояние, отвечали бы, что эти советы неуместны при их алкоголическом состоянии.

Рассуждения всех светских писателей, как русских, так и иностранных, как ни различен их тон и манера доводов, все в сущности сводятся к одному и тому же странному недоразумению, именно к тому, что учение Христа, одно из последствий которого есть непротivление злу насилieм, непригодно нас, потому что оно требует изменения нашей жизни.

Учение Христа не годно, потому что, если бы оно было исполнено, не могла бы продолжаться наша жизнь; другими словами: если бы мы начали жить хорошо, как нас учил Христос, мы не могли бы продолжать жить дурно, как мы живем и привыкли жить. Вопрос же о непротivлении злу насилieм не только не обсуждается, но самое упоминание о том, что в учение Христа входит требование непротivления злу насилieм, уже считается достаточным доказательством неприложимости всего учения.

А между тем, казалось бы, необходимо указать хоть на какое-нибудь решение этого вопроса, так как он стоит в основе почти всех дел, которые занимают нас.

Вопрос ведь состоит в том: каким образом разрешать столкновения людей, когда одни люди считают злом то, что другие считают добром, и наоборот? И потому считать, что зло есть то, что я считаю злом, несмотря на то, что противник мой считает это добром, не есть ответ. Ответов может быть только два: или тот, чтобы найти верный и неоспоримый критерий того, что есть зло, или тот, чтобы не противиться злу насилieм.

Первый выход был пробован с начала исторических времен и, как мы все знаем, не привел до сих пор к успешным результатам.

Второй ответ — не противиться насилieм тому, что мы считаем злом, до тех пор, пока мы не нашли общего критерия, — этот ответ предложен Христом.

Можно находить, что ответ, данный Христом, неправилен; можно выставить на место его другой, лучший, найдя такой критерий, который для всех несомненно и одновременно определял бы зло; можно просто не сознавать сущности вопроса, как не сознают этого дикие народы, но нельзя, как это делают ученые критики христианского учения, делать вид, что вопроса никакого вовсе и не существует или что признание за известными лицами или собраниями людей (тем менее, когда эти люди мы сами) права определять зло и противиться ему насилieм разрешает вопрос; тогда как мы все знаем, что такое признание несколько не разрешает вопроса, так как всегда есть люди, не признающие за известными людьми или собраниями этого права.

А это-то признание того, что то, что нам кажется злом, то и есть зло, или совершенное непонимание вопроса, и служит основой суждений светских критиков о христианском учении, так что суждения о моей книге, как церковных, так и светских критиков, показали мне то, что большинство людей прямо не понимают не только самого учения Христа, но даже и тех вопросов, на которые оно служит ответом.

### III

Так что сведения, полученные мною после выхода моей книги о том, как не переставая понималось и понимается меньшинством людей христианское учение в его прямом и истинном смысле, так и критики на нее, и церковные и светские, отрицающие возможность понимать учение Христа в прямом смысле, убедили меня в том, что тогда как, с одной стороны, никогда для меньшинства не прекращалось, но все яснее и яснее становилось истинное понимание этого учения, так, с другой стороны, для большинства смысл его все более и более затемнялся, дойдя, наконец, до той степени затемнения, что люди прямо уже не понимают самых простых положений, самыми простыми словами выраженных в Евангелии.

Непонимание учения Христа в его истинном, простом и прямом смысле в наше время,

когда свет этого учения проник уже все самые темные углы сознания людского; когда, как говорил Христос, теперь уже с крыш кричат то, что он говорил на ухо; когда учение это проникает все стороны человеческой жизни: и семейную, и экономическую, и гражданскую, и государственную, и международную, — непонимание это было бы необъяснимо, если бы непониманию этому не было причин.

Одна из этих причин это та, что как верующие, так и неверующие твердо убеждены, что учение Христа понято ими давно и так полно, несомненно и окончательно, что никакого другого значения, кроме того, которое они придают ему, и не может быть в нем. Причина этого состоит в продолжительности предания ложного понимания и потому непонимания его.

Самая сильная струя воды не может прибавить ни капли жидкости в сосуд, который полон.

Можно самому непонятливому человеку объяснить самые мудреные вещи, если он не составил себе о них еще никакого понятия; но самому понятливому человеку нельзя объяснить самой простой вещи, если он твердо убежден, что знает, да еще несомненно знает то, что передается ему.

Христианское учение представляется людям нашего мира именно таким давно и несомненно каждому до всех своих мельчайших подробностей известным учением, которое не может быть понимаемо иначе, как так, как оно понято.

Христианство понимается теперь исповедующими церковные учения как сверхъестественное, чудесное откровение обо всем том, что сказано в символе веры; неверующими же, — как пережитое человечеством проявление его потребности веры в сверхъестественное; как историческое явление, вполне выразившееся в католичестве, православии, протестантстве и не имеющее уже для нас никакого жизненного значения. Для верующих значение учения скрывается церковью, для неверующих — наукою.

Скажу сперва о первых.

1800 лет тому назад среди языческого римского мира явилось, странное, не похожее ни на какое из прежних, новое учение, приписывавшееся человеку Христу.

Новое учение это было совершенно новое как по форме, так и по содержанию, и для еврейского мира, среди которого оно возникло, и в особенности для того римского мира, среди которого оно проповедовалось и распространялось.

Среди разработанности религиозных правил еврейства, где, по словам Исаии, было правило на правиле, и среди римского, выработанного до великой степени совершенства, законодательства явилось учение, отрицавшее не только всякие божества, — всякий страх перед ними, всякие, гадания и веру в них, — но и всякие человеческие учреждения и всякую необходимость в них.

Вместо всяких правил прежних исповеданий, учение это выставило только образец внутреннего совершенства, истины и любви в лице Христа и последствия этого внутреннего совершенства, достигаемого людьми, — внешнего совершенства, предсказанного пророками, — Царства Божия, при котором все люди разучатся враждовать, будут все научены Богом и соединены любовью и лев будет лежать с ягнёнком.

Вместо угроз наказания за неисполнение правил, которые выставлялись прежними законами, как религиозными, так и государственными, вместо приманки наград за исполнение их, учение это призывало к себе только тем, что оно истина. «Кто хочет узнать об этом учении — от Бога ли оно, пусть исполняет его» (Иоан. VII, 17). «Если я говорю истину, почему не верите мне? Зачем ищете убить человека, сказавшего вам истину? Только истина освободит вас. Исповедовать Бога надо только в истине. Всё учение откроется и уяснится духом истины. Делайте то, что я говорю, и узнаете, правда ли то, что я говорю» (Иоан. VIII).

Доказательств учения не выставлялось никаких, кроме истины, кроме соответствия учения с истиной. Всё учение состояло в познании истины и следовании ей, в большем и большем постигновении истины и большем и большем приближении к ней в делах жизни.

Нет по этому учению поступков, которые бы могли оправдать человека, сделать его праведным, есть только влекущий к себе сердца образец истины для внутреннего совершенства в лице Христа, а для внешнего — в осуществлении Царства Божия. Исполнение учения — только в движении по указанному пути, в приближении к совершенству внутреннему — подражания Христу, и внешнему — установления Царства Божия. Больше или меньше благо

человека зависит по этому учению не от той степени совершенства, до которого он достигает, а от большего или меньшего ускорения движения.

Движение к совершенству мытаря Заххей, блудницы, разбойника на кресте по этому учению большее благо, чем неподвижная праведность фарисея. Заблудшая овца дороже 99-ти незаблудших. Блудный сын, потерянная и опять найденная монета дороже, любимее Богом тех, которые не пропадали.

Всякое состояние по этому учению есть только известная степень на пути к недостижимому внутреннему и внешнему совершенству и потому не имеет значения. Благо только в движении к совершенству, остановка же на каком бы то ни было состоянии есть прекращение блага.

«Пусть левая не знает, что делает правая», а «не надежен для Царства Божия работник, взявшийся за плуг и оглядывающийся назад». «Не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, а ищите того, что имена ваши были написаны на небесах». «Будьте совершенны, как совершенен отец ваш небесный». «Ищите Царствия Божия и правды его».

Исполнение учения только в безостановочном движении — в постигновении всё высшей и высшей истины, и всё в большем и большем осуществлении ее в себе всё большей и большей любовью, а вне себя всё большим и большим осуществлением Царства Божия.

Очевидно, что явившееся среди еврейского и языческого мира учение это не могло быть принято большинством людей, живших совершенно иною жизнью, чем та, которой требовало это учение; и что даже теми, которыми оно было принято, оно, как совершенно противоположное всем прежним взглядам, не могло быть понято во всем его значении.

Только рядом недоразумений, ошибок, односторонних разъяснений, исправляемых и дополняемых поколениями людей, смысл христианского учения всё более и более уяснялся людям. Совершалось воздействие христианского мирозерцания на еврейское и языческое и языческого и еврейского на христианское. И христианское, как живое, всё более и более проникало отживающее еврейское и языческое и выступало всё яснее и яснее, освобождаясь от накладываемых на него ложных примесей. Люди всё дальше и дальше постигали смысл христианства и более и более осуществляли его в жизни.

Чем дальше жило человечество, тем более и более уяснялся ему смысл христианства, как это не могло и не может быть иначе со всяким учением о жизни. Последующие поколения исправляли ошибки предшественников и всё более и более приближались к пониманию истинного его смысла.

Так это было с самых первых времен христианства. И вот тут-то, с самых первых времен его, появились люди, начавшие утверждать про себя, что тот смысл, который они придают учению, есть единый истинный и что доказательством этого служат сверхъестественные явления, подтверждающие справедливость их понимания.

Это-то и было главной причиной сначала непонимания учения, а потом и полного извращения учения.

Предполагалось, что учение Христа передается людям не как всякая другая истина, а особенным, сверхъестественным способом, так что истинность понимания учения доказывается не соответственностью передаваемого с требованиями разума и всей природы человека, а чудесностью передачи, служащей непререкаемым доказательством истинности понимания. Возникло это предположение из непонимания, и последствием его была невозможность понимания.

Началось это с самых первых времен, когда так неполно еще и часто превратно понималось учение, как мы видим это по Евангелиям и Деяниям. Чем менее было понято учение, тем оно представлялось темнее и тем нужнее были внешние доказательства его истинности. Положение о том, чтобы не делать другим того, что не хочешь, чтобы тебе делали, не нужно было доказывать чудесами, и положению этому не нужно было требовать веры, потому что положение это само по себе убедительно, соответствуя и разуму и природе человека; но положение о том, что Христос был Бог, надо было доказывать чудесами совершенно непонятными.

Чем было темнее понимание учения Христа, тем более примешивалось к нему чудесного; а чем более примешивалось чудесного, тем более учение отклонялось от своего смысла и

становилось темнее, тем сильнее надо было утверждать свою непогрешимость и тем менее учение становилось понятно.

С самых первых времен по Евангелиям, Деяниям, Посланиям можно видеть, каким образом непонимание учения вызывало необходимость доказательств через чудесное и непонятное.

Началось это, по книге Деяний, с того собрания, на котором сошлись ученики в Иерусалиме для разрешения возникшего вопроса о крещении или некрещении необрезанных и о едящих идоложертвенное.

Самая постановка вопроса показывала, что обсуждавшие его не понимали учения Христа, отвергающего все внешние обряды: омовения, очищения, посты, субботы. Прямо сказано: «сквернит не то, что в уста входит, а то, что исходит из сердца», и потому вопрос о крещении необрезанных мог возникнуть только среди людей, любивших учителя, смутно чувявших величие его учения, но еще очень неясно понимавших самое учение. Так оно и было.

Насколько члены собрания не понимали учения, настолько понадобилось им внешнее подтверждение своего неполного понимания. И вот для решения вопроса были произнесены на этом собрании, как это описывает книга Деяний, в первый раз долженствовавшие внешним образом утвердить справедливость известных утверждений, эти страшные, наделавшие столько зла, слова: «угодно святому духу и нам», т. е. утверждалось, что справедливость того, что они постановили, засвидетельствовали чудесным участием в этом решении святого духа, т. е. Бога. Но утверждение о том, что святой дух, т. е. Бог, говорил через апостолов, опять надо было доказать. И вот понадобилось для этого утверждать то, что в пятидесятницу святой дух в виде огненных языков сошел на тех, которые утверждали это. (В описании сошествие св. духа предшествует собору, но написаны Деяния много после того и другого.) Но и сошествие святого духа надо было подтвердить для тех, которые не видали огненных языков (хотя и непонятно, почему огненный язык, зажегшийся над головой человека, показывает, что то, что будет говорить этот человек, — несомненная правда), и понадобились еще чудеса и исцеления, воскресения, умерщвления и все те соблазнительные чудеса, которыми наполнены Деяния и которые не только никогда не могут убедить в истинности христианского учения, но могут только оттолкнуть от него. Последствия такого способа утверждения истины были те, что чем более нагромождались одно за другим эти подтверждения истинности рассказами о чудесах, тем более отклонялось самое учение от своего первоначального смысла и тем непонятнее становилось оно.

Так это было с первых времен и так это шло, постоянно усиливаясь, логически дойдя в наше время до догматов пресуществления и непогрешимости папы или епископов, или писаний, т. е., совершенно непонятного, дошедшего до бессмыслицы и до требований слепой веры не Богу, не Христу, не учению даже, а лицу, как в католичестве, или лицам, как в православии, или — веры книжке, как в протестантстве. Чем шире распространялось христианство и чем большую оно захватывало толпу неподготовленных людей, тем менее оно понималось, тем решительнее утверждалась непогрешимость понимания и тем менее становилась возможность понять истинный смысл учения. Уже ко времени Константина всё понимание учения свелось к резюме, утвержденным светской властью, — резюме споров, происходивших на соборе, — к символу веры, в котором значится: верую в то-то, то-то и то-то и под конец — в единую, святую, соборную и апостольскую церковь, т. е. в непогрешимость тех лиц, которые называют себя церковью, так что всё свелось к тому, что человек верит уже не Богу, не Христу, как они открылись ему, а тому, чему велит верить церковь.

Но церковь свята, церковь основана Христом. Не мог Бог предоставить людям толковать свое учение произвольно, и потому он установил церковь. Все эти положения до такой степени несправедливы и голословны, что совестно опровергать их. Нигде, ни по чему, кроме как по утверждению церковей, не видно, чтобы Бог или Христос основывали что-либо подобное тому, что церковники разумеют под церковью. В Евангелии есть указание, против церкви как внешнего авторитета, самое очевидное и ясное, в том месте, где говорится, чтобы ученики Христа никого не называли учителями и отцами. Но нигде ничего не сказано об установлении того, что церковники называют церковью.

В Евангелиях два раза употреблено слово «церковь». Один раз в смысле собрания людей,



разрешающего спор; другой раз в связи с темными словами о камне — Петре и вратах ада. Из этих двух упоминаний слова «церковь», имеющего значение только собрания, выводится то, что мы теперь разумеем под словом «церковь».

Но Христос никак не мог основать церковь, т. е. то, что мы теперь понимаем под этим словом, потому что ничего подобного понятию церкви такой, какую знаем теперь с таинствами, иерархией и, главное, с своим утверждением непогрешимости, не было ни в словах Христа, ни в понятиях людей того времени.

То, что люди называли то, что сложилось потом, тем же словом, которое Христос употреблял о чем-то другом, никак не дает им права утверждать того, что Христос основал единую истинную церковь.

Кроме того, если бы Христос действительно установил такое учреждение, как церковь, на котором основано всё учение и вся вера, то он, вероятно бы, высказал это установление так определенно и ясно и придал бы единой истинной церкви, кроме рассказов о чудесах, употребляемых при всяких суевериях, такие признаки, при которых не могло бы быть никакого сомнения в ее истинности; но ничего подобного нет, а как были, так и есть теперь различные учреждения, называющие себя каждое единою истинною церковью.

Католический катехизис говорит: «Церковь есть общество верующих, основанное господом нашим Иисусом Христом, распространенное по всей земле и подчиненное власти законных пастырей и святого нашего отца — папы», подразумевая под *pasteurs legitimes* человеческое учреждение, имеющее во главе своей папу и составленное из известных, связанных между собой известной организацией лиц.

Православный катехизис говорит: «Церковь есть основанное Иисусом Христом на земле общество, соединенное между собою в одно целое одним божественным учением и таинствами под управлением и руководством богоустановленной иерархии», разумея под богоустановленной иерархией именно греческую иерархию, составленную из известных таких-то лиц, находящихся в таких-то и таких-то местах.

Лютеранский катехизис говорит: «Церковь есть святое христианство; или собрание всех верующих под Христом, главою их, в котором св. дух через Евангелие и таинства предлагает, сообщает, усваивает Божеское спасение», подразумевая то, что католическая церковь заблудшая и отпавшая и что истинное предание хранится в лютеранстве.

Для католиков божественная церковь совпадает с римской иерархией и папой. Для православных божественная церковь совпадает с учреждением восточной и русской иерархии<sup>2</sup>. Для лютеран божественная церковь совпадает с собранием людей, признающих Библию и катехизис Лютера.

Обыкновенно, говоря о происхождении христианства, люди, принадлежащие к одной из существующих церквей, употребляют слово «церковь» в единственном числе, как будто церковь была и есть только одна. Но это совершенно несправедливо. Церковь, как учреждение, утверждающее про себя, что она обладает несомненной истиной, явилась только тогда, когда она была не одна, а было их по крайней мере две.

Пока верующие были согласны между собою, и собрание было одно, ему незачем было утверждать себя церковью. Только тогда, когда верующие разделились на противоположные,

2 Имеющее некоторый успех между русскими людьми определение церкви Хомякова не исправляет дела, если признавать вместе с Хомяковым, что единая истинная церковь есть православная. Хомяков утверждает, что церковь есть собрание людей (всех без различия клира и паствы), соединенных любовью, что только людям, соединенным любовью, открывается истина (Возлюбим друг друга, да единомыслием и т. д.) и что таковая церковь есть церковь, во-первых, признающая Никейский символ, а во-вторых, та, которая после разделения церквей не признает папы и новых догматов. Но при таком определении церкви является еще большее затруднение приравнять, как того хочет Хомяков, церковь, соединенную любовью, с церковью, признающею Никейский символ и правоту Фотия. Так что утверждение Хомякова о том, что эта соединенная любовью и, следовательно, святая церковь и есть самая, исповедуемая греческой иерархией, церковь, еще более произвольно, чем утверждение католиков и старых православных. Если допустить понятие церкви в том значении, которое дает ему Хомяков, т. е. как собрание людей, соединенных любовью и истиной, то всё, что может сказать всякий человек по отношению этого собрания, — это то, что весьма желательно быть членом такого собрания, если такое существует, т. е. быть в любви и истине; но нет никаких внешних признаков, по которым можно бы было себя или другого причислить к этому святому собранию или отвергнуть от него, так как никакое внешнее учреждение не может отвечать этому понятию.

отрицающие друг друга партии, явилась потребность каждой стороны утверждать свою истинность, приписывая себе непогрешимость. Понятие единой церкви возникло только из того, что, при разногласии в споре двух сторон, каждая, называя другую сторону ересью, признавала только свою сторону непогрешимую церковью.

Если мы знаем, что была церковь, решившая в 51 году принимать необрезанных, то церковь эта явилась только потому, что была другая церковь — иудействующих, решившая не принимать необрезанных.

Если есть теперь церковь католическая, утверждающая свою непогрешимость, то только потому, что есть церкви: греко-российская, православная, лютеранская, каждая утверждающая свою непогрешимость и этим самым отрицающая все другие церкви. Так что церковь единая есть только фантастическое представление, не имеющее в себе ни малейшего признака действительности.

Как действительное историческое явление существовали и существуют только многие собрания людей, утверждающие каждое про себя, что оно есть единая, основанная Христом церковь, а что все другие, называющие себя церквами, суть ереси и расколы.

Катехизисы самых распространенных церквей: католической, православной и лютеранской, прямо говорят это.

В католическом катехизисе сказано:

Кто находится вне церкви? — Неверные, еретики и схизматики. Схизматиками признаются так называемые православные. Еретиками признаются лютеране; так что, по католическому катехизису, в церкви — одни католики.

В так называемом православном катехизисе сказано: «Под единой церковью Христовой разумеется только православная, которая остается вполне согласно с церковью вселенской. Что же касается римской церкви и других исповеданий (лютеран и других не называют даже церковью), то они не могут быть относимы к единой истинной церкви, так как сами отделились от нее.

По этому определению католики и лютеране — вне церкви, а в церкви — одни православные.

Лютеранский же катехизис гласит:

Истинная церковь узнается по тому, что в ней слово Бога ясно и чисто, без человеческих прибавлений преподается и таинства верно учению Христа установлены.

По этому определению все те, которые прибавили что-либо к учению Христа и апостолов, как это сделали католическая и греческая церковь, — находятся вне церкви. И в церкви — одни протестанты.

Католики утверждают, что св. дух непрерывно действовал в их иерархии; православные утверждают, что тот же св. дух непрерывно действовал в их иерархии; ариане утверждали, что св. дух действовал в их иерархии (утверждали это с таким же правом, с каким утверждают это теперь царствующие церкви); всякого рода протестанты: лютеране, реформаты, пресвитеры, методисты, сведенборгианцы, мормоны утверждают, что св. дух действует только в их собраниях.

Если католики утверждают, что дух святой во время разделения церквей арианской и греческой оставлял отпавшие церкви и оставался в одной истинной, то точно с таким же правом могут утверждать протестанты всякого наименования, что во время отделения их церкви от католической дух святой оставлял католическую и переходил в церковь, ими признаваемую. Так они это и делают.

Всякая церковь, выводит свое исповедание через непрерывное предание от Христа и апостолов. И действительно, всякое христианское исповедание, происходя от Христа, неизбежно должно было дойти до настоящего поколения через известное предание. Но это не доказывает того, чтобы одно из этих преданий, исключая все другие, было несомненно истинно.

Каждый сучок на дереве идет без перерыва от корня; но то, что каждый сучок идет от одного корня, никак не доказывает того, чтобы каждый сучок был единственный. Точно так же и церкви. Каждая церковь представляет точно такие же доказательства своей преемственности и даже чудес в пользу истинности своей, как и всякая другая; так что строгое и точное определение того, что есть церковь (не как нечто фантастическое, чего бы нам хотелось но как

то, что есть и было в действительности), — только одно: церковь есть такое собрание людей, которые утверждают про себя что они находятся в полном и единственном обладании истины.

Вот эти-то собрания, перешедшие впоследствии при помощи поддержки власти в могущественные учреждения, и были главными препятствиями распространению истинного понимания учения Христа.

Оно и не могло быть иначе: главная особенность учения Христа от всех прежних учений состояла в том, что люди, принявшие его, всё больше и больше стремились понимать и исполнять учение; церковное же учение утверждало свое полное и окончательное понимание и исполнение его.

Как ни странно это кажется для нас, людей воспитанных в ложном учении о церкви как о христианском учреждении и в презрении к ереси, — но только в том, что называлось ересью и было истинное движение, т. е. истинное христианство, и только тогда переставало быть им, когда оно в этих ересях останавливалось в своем движении и так же закреплялось в неподвижные формы церкви.

В самом деле, что такое ересь? Перечитайте все богословские сочинения, трактующие о ересях, о том предмете, который первый представляется для определения, так как каждое богословие говорит об истинном учении среди окружающих его ложных, т. е. ересей и нигде не найдете даже подобия какого-нибудь определения ереси.

Образцом того полного отсутствия какого-нибудь подобия определения того, что понимается под словом «ересь», может служить суждение об этом предмете ученого историка христианства E. de Pressense всего «Histoire du Dogme» с эпиграфом «Udi Ghristus, idi Ecclesia» (Paris, 1869). Вот что он говорит в своем предисловии (стр. 3) «Я знаю, что у нас оспаривают право так определять (т. е. называть ересями) те направления, с которыми столь напряженно боролись первые отцы. Одно название „ересь“ представляется покушением на свободу совести и мысли. Но мы, с своей стороны, не можем разделять подобных сомнений, которые привели бы ни к чему другому, как к отнятию у христианства его отличительного характера».

И, сказав, что после Константина церковь действительно злоупотребляла своей властью определять несогласных еретиками и преследовать их, он, обсуждая первые времена, говорит:

«Церковь есть ассоциация свободная, отделяться от нее представляет только выгоду. Poleмика против заблуждения осуществима только на основании мысли и чувства. Общая и единая догматическая форма до сих пор еще не выработана; частные разногласия свободно проявляются как на Востоке, так и на Западе; теология вовсе не прикована к неизменным формулам. Если среди всего этого разногласия просвечивает фон общих верований, то разве мы не вправе в этом видеть не окончательно оформленную систему, составленную авторитетными представителями той или другой школы, а — самую веру в ее чистейшем побуждении и в самом непосредственном ее проявлении? Если оказывается, что это самое единство, которое обнаруживается во всех основных верованиях, восстает против тех или других направлений, то разве мы не вправе из этого предположить, что эти направления были в противоречии с основными принципами христианства? И не обратится ли такое наше предположение в полную уверенность тогда, когда мы признаем в таком учении, отвергнутом церковью, характеристические черты той или другой отжившей религии? Если допустить, что гностицизм и эбионитизм суть законные формы христианской мысли, то приходится смело признать, что вовсе нет ни христианской мысли, ни отличительного характера, по которому можно было бы ее узнать. Под предлогом ее расширить мы ее совсем упразднили бы. Во время Платона никто не посмел бы выразить свое одобрение такому учению, в котором не умещалась бы теория идей, и рассмешил бы всю Грецию тот, кто вздумал бы причислять Эпикура или Зенона к ученикам Академии. Итак, допустим, что если существует религия или учение, называемое христианством, то оно может иметь свои ереси (стр. 4)».

Все рассуждение автора сводится к тому, что всякое суждение, несогласное с исповедуемым нами в данное время сводом догматов, есть ересь. Но ведь в данное время и в данном месте люди что-нибудь да исповедуют и это исповедание чего-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь не может быть критериумом истины.

Все сводится к тому, что *udi Christus, idi Ecclesia*. *Christus* же там, где мы.

Всякая так называемая ересь, признавая истиной то, что она исповедует, может точно так же найти в истории церкви последовательное выяснение того, что она исповедует, употребить для себя все аргументы Пресансе и называть только свое исповедание истинно христианским, что и делали и делают все ереси.

Единственное определение ереси (слово ??????? значит часть) есть название, которое дает собрание людей всякому суждению, опровергающему часть учения, исповедуемого собранием. Более же частное значение, чаще всего приписываемое ереси, есть значение мнения, опровергающее установленное и поддерживаемое светской властью церковное учение.

Есть замечательное малоизвестное огромное сочинение («*Unparteiische Kirchen und Ketzer-Historie*», 1729 г.) Готфрида Арнольда, трактующего прямо об этом предмете и показывающего всю незаконность, произвольность, бессмысленность и жестокость употребления слова «ересь» в смысле отвержения. Книга эта есть попытка описания истории христианства в форме истории ересей.

В вступлении автор ставит ряд вопросов: 1) о тех, которые делают еретиков (*von den Ketzermachern selbst*); 2) о тех, кого делали еретиками; 3) о самих предметах ереси; 4) о способе делания еретиков и 5) о целях и последствиях делания еретиков.

На каждый из этих пунктов он ставит еще десятки вопросов, ответы на которые дает потом из сочинений известных богословов, а главное предоставляет самому читателю сделать вывод из изложения всей книги. Как образцы этих вопросов, заключающих в себе отчасти и ответы, приведу следующие. По 4-му пункту о том, как делаются еретики, он говорит в одном из вопросов (в 7-м): «Не показывает ли вся история того, что самые большие делатели еретиков и мастера этого дела были именно те мудрецы, от которых отец скрыл свои тайны, т. е. лицемеры, фарисеи и законники или совершенно безбожные и извращенные люди». (Вопр. 20-21): «И что не были ли в испорченные времена христианства отброшены лицемерами и завистниками те самые люди, особенно одаренные от Бога великими дарами, которые во времена чистого христианства были бы высоко почитаемы. И напротив, не были ли бы эти люди, которые при упадке христианства возвысили себя выше всего и признали себя учителями чистейшего христианства, не были ли бы те люди во времена апостолов и учеников Христа признаны самыми постыдными еретиками и антихристианами».

Между прочим, высказывая в этих вопросах мысль о том, что словесное выражение сущности веры, которое требовалось церковью и отступление от которого считалось ересью, никогда не могло вполне покрывать самого мирозерцания верующего и что потому требование выражения веры известными словами и производило ереси, он в вопросе 21-м и 33-м говорит:

«И что если человеку божественные дела и мысли представляются столь великими и глубокими, что он не находит соответствующих слов для их выражения, то следует ли его признать еретиком, если он не может вполне точно выразить свое понятие? И что не оттого ли в первые времена не было ереси, что христиане судили друг друга не по словесным выражениям, но по сердцу и делам, при совершенной свободе выражения своих мыслей, без страха быть признанным еретиком? Не было ли самым обыкновенным и легким способом церкви (говорит он в 31-м вопросе), если клир хотел избавиться или погубить кого, сделать это лицо подозрительным в его учении и набросить на него плащ еретичества и тем осудить и устранить это лицо?»

«Хотя и справедливо то, что среди так называемых еретиков были грехи и заблуждения, но не менее справедливо и очевидно из бесчисленных приводимых здесь примеров (т. е. в истории церкви и ереси) и то, говорит он далее, что нет и не было ни одного искреннего и совестливого человека с некоторым значением, который бы из зависти или других причин не был бы погублен церковниками».

Так почти 200 лет тому назад понималось уже значение ереси, и, несмотря на то, понятие это существует до сих пор. Оно и не может не существовать до тех пор, пока существует понятие церкви. Ересь есть обратная сторона церкви. Там, где есть церковь, должно быть и

понятие ереси. Церковь есть собрание людей, утверждающих про себя, что они обладают несомненной истиной. Ересь есть мнение людей, не признающих несомненность истины церкви.

Ересь есть проявление движения в церкви, есть попытка разрушения заочневшего утверждения церкви, попытка живого понимания учения. Всякий шаг движения вперед, понимания и исполнения учения совершался еретиками: еретики были и Тертуллиан, и Ориген, и Августин, и Лютер, и Гус, и Савонаролла, и Хельчицкий и др. Оно и не могло быть иначе.

Ученик Христа, учение которого состоит в вечном большем и большем постигновении учения и большем и большем исполнении его, в движении к совершенству, не может именно потому, что он ученик Христа, утверждать про себя или про другого, что он понимает вполне учение Христа и исполняет его; еще менее может утверждать это про какое-либо собрание.

На какой бы ступени понимания и совершенства ни находился ученик Христа, он всегда чувствует недостаточность своего и понимания и исполнения и всегда стремится к большему и пониманию и исполнению. И потому утверждение про себя или про какое-либо собрание, что я или мы находимся в обладании совершенного понимания и исполнения учения Христа, есть отречение от духа учения Христа.

Как ни странно это кажется, церкви, как церкви, всегда были и не могут не быть учреждениями не только чуждыми, но прямо враждебными учению Христа. Недаром Вольтер называл ее бесчестная; недаром все или почти все христианские так называемые секты признавали и признают церковь той блудницей, о которой пророчествует апокалипсис; недаром история церкви есть история величайших жестокостей и ужасов.

Церкви, как церкви, не суть некоторые учреждения, имеющие в основе своей христианское начало, хотя и несколько отклонившиеся от прямого пути, как это думают многие; церкви, как церкви, как собрания, утверждающие свою непогрешимость, суть учреждения противохристианские. Между церквами, как церквами, и христианством не только нет ничего общего, кроме имени, но это два совершенно противоположные и враждебные друг другу начала. Одно — гордость, насилие, самоутверждение, неподвижность и смерть; другое — смирение, покаяние, покорность, движение и жизнь.

Нельзя служить вместе этим двум господам, надо выбрать того или другого.

Служители церковей всех исповеданий, в особенности в последнее время, стараются выставить себя сторонниками движения в христианстве: они делают уступки, желают исправить вкравшиеся в церкви злоупотребления и говорят, что из-за злоупотреблений нельзя отрицать самого принципа христианской церкви, которая одна только может соединить всех воедино и быть посредницей между людьми и Богом. Но это всё несправедливо. Церкви не только никогда не соединяли, но были всегда одной из главных причин разъединения людей, ненависти друг к другу, войн, побоищ, инквизиций, варфоломеевских ночей и т. п., и церкви никогда не служат посредниками между людьми и Богом, чего и не нужно и что прямо запрещено Христом, открывшим свое учение прямо непосредственно каждому человеку, но ставят мертвые формы вместо Бога и не только не открывают, но заслоняют от людей Бога. Церкви, возникшие из непонимания и поддерживающие это непонимание своей неподвижностью, не могут не преследовать и не гнать всякое понимание учения. Они стараются скрыть это, но это невозможно потому, что всякое движение вперед по пути, указанному Христом, разрушает их существование.

Послушаешь и считаешь статьи и проповеди, в которых церковные писатели нового времени всех исповеданий говорят о христианских истинах и добродетелях, слушаешь и считаешь эти веками выработанные искусные рассуждения, увещания, исповедания, иногда как будто похожие на искренние, и готов усомниться в том, чтобы церкви могли быть враждебны христианству: «не может же быть того, чтобы эти люди, выставившие таких людей, как Златоусты, Фенелоны, Ботлеры, и других проповедников христианства, были враждебны ему». Хочется сказать: «церкви могли отклоняться от христианства, ошибаться, но не могли они быть враждебны ему». Но посмотришь на плоды, чтобы оценить дерево, как учил Христос, и увидишь, что плоды их были злы, что последствием их деятельности было извращение христианства, и не можешь не признать, что, как ни добры были люди, — дело церкви, в котором эти люди участвовали, было нехристианское. Доброта и достоинства всех этих людей,

служивших церквам, были доброта и достоинства людей, но не того дела, которому они служили. Все эти добрые люди, — как оба Франциска, d'Assise и de Lobes, наш Тихон Задонский, Фома Кемпийский и др. были добрые люди, несмотря на то, что они служили делу, враждебному христианству, и они были бы еще добрее и достойнее, если бы не подпали тому заблуждению, которому служили.

Но зачем говорить о прошедшем, судить о прошедшем, которое может быть ложно представлено и мало известно нам: церкви с своими основами и с своей деятельностью не есть дело прошедшего: церкви теперь перед нами, и мы можем судить о них на деле по их деятельности, их влиянию на людей.

В чем же состоит теперь деятельность церквей? Как они влияют на людей? Что делается церквами у нас, у католиков, у протестантов всяких наименований; в чем их деятельность и какие последствия их деятельности?

Деятельность нашей русской, так называемой православной церкви на виду у всех. Это факт огромный, который скрыть нельзя и о котором спорить нельзя.

В чем состоит деятельность этой русской церкви, этого огромного напряженно действующего учреждения, состоящего из полумиллионного полчища, стоящего народу десятки миллионов?

Деятельность этой церкви состоит в том, чтобы всеми возможными мерами внушить 100-миллионной массе русского народа те отсталые, отжитые, не имеющие теперь никакого оправдания верования, которые когда-то исповедовали чуждые нашему народу люди и в которые почти никто уже не верит, часто даже и те, на обязанности которых лежит распространение этих ложных верований.

Внушение народу этих чуждых ему, отжитых и не имеющих уже никакого смысла для людей нашего времени формул византийского духовенства о троице, о Божией матери, о таинствах, о благодати и т. п. составляет одну часть деятельности русской церкви; другую часть ее деятельности составляет деятельность поддержания идолопоклонства в самом прямом смысле этого слова: почитания святых мощей, икон, принесения им жертв и ожидания от них исполнения желаний. Не буду говорить о том, что говорится, пишется духовенством с оттенком научности и либерализма в духовных журналах, а буду говорить о том, что действительно совершается духовенством по всей обширной русской земле среди 100-миллионного народа. Чему старательно, неупустительно, напряженно везде одинаково учат народ? Чего от него требуют в силу так называемой христианской веры?

Начну с начала, с рождения ребенка: при рождении ребенка учат тому, что надо над ребенком и матерью прочесть молитву, чтобы очистить их, так как без молитвы этой родившая мать погана. Для этого перед изображениями святых, называемых народом прямо богами, священник берет в руки ребенка и читает заклинательные слова и этим очищает мать. Потом внушается родителям и даже требуется от них под страхом наказания за неисполнение, чтобы ребенок был непременно крещен, т. е. обмокнут священником три раза в воду, причем читаются никому не понятные слова и совершаются еще менее понятные действия, — мазание маслом разных частей тела, стрижка волос и дутье и плевание восприемников на воображаемого дьявола. Всё это должно очистить ребенка и сделать его христианином. Потом внушается родителям, что ребенка надо причастить, т. е. дать ему под видом хлеба и вина съесть частицу тела Христа, вследствие чего ребенок примет в себя благодать Христа и т. д. Потом внушается, что этого ребенка, по мере возраста, надо выучить молиться. Молиться — значит становиться прямо перед досками, на которых нарисованы лица Христа, богородицы, святых, и кланяться головой, всем телом, а правой рукой, со сложенными известным образом пальцами, дотрагиваться до лба, плеч, живота и произносить славянские слова, из которых самые употребительные и всем детям внушаемые: богородица, дева радуйся и т. д. Потом внушается воспитываемому, что при виде всякой церкви и иконы надо делать опять то же, т. е. креститься; потом внушается, что в праздники (праздники — это дни, в которые Христос родился, хотя никто не знает, когда это было, дни, в которые он обрезался, в которые умерла богородица, в которые принесен крест, в которые внесена икона, в которые яродивый видел видение и т. п.), в праздники надо одеться в лучшие одежды и идти в церковь и покупать и ставить там свечи перед изображениями святых, подавать записочки и поминания и хлебцы, для вырезывания в

них треугольников, и потом молиться много раз за здоровье и благоденствие царя и архиереев и за себя и за свои дела и потом целовать крест и руку у священника.

Кроме этой молитвы, внушается еще, что надо каждый год, по крайней мере один раз, говеть. Говеть — значит войти в церковь и сказать священнику свои грехи, предполагая, что это сообщение своих грехов чужому человеку совершенно очищает от грехов, и потом съесть с ложечки кусочек хлеба с вином, что еще более очищает. Потом внушается, что если мужчина и женщина хотят, чтобы их плотское общение было свято, то они должны прийти в церковь, надеть на себя металлические короны, выпить питья, обойти под звуки пения три раза вокруг стола, и что тогда плотское общение мужчины и женщины делается святым и совсем особенным от всяких других.

В жизни же внушается, что надо соблюдать следующие правила: не есть мяса и молока в известные дни, еще и в другие известные дни служить молебны и панихиды по умершим, в праздники принимать священника и давать ему деньги и несколько раз в году брать из церкви доски с изображениями и носить их на полотенцах по полям и домам. Перед смертью же внушается, что человек должен непременно съесть с ложечки хлеба с вином, а еще лучше, если успеет помазаться маслом. Это обеспечивает ему благо в будущей жизни. После же смерти внушается родным его, что для спасения души умершего полезно положить ему в руки печатную бумагу с молитвой; полезно еще, чтобы над мертвым телом прочли известную книгу и чтобы в церкви в известное время произносили бы имя умершего.

В этом считается обязательная вера для каждого.

Но если кто особенно хочет позаботиться о своей душе, то по этой вере внушается, что наибольшее обеспечение блаженства души на том свете достигается еще тем, чтобы жертвовать деньги на церкви и монастыри, обязывая этим святых людей молиться за себя. Спасительны еще, по этой вере, для души хождения по монастырям и целование явленных икон и мощей.

По этой вере явленные иконы и мощи сосредоточивают в себе особенную святость, силу и благодать и близость к этим предметам: прикосновение, целование, становление свеч к ним, подлезание под них много содействует спасению, равно и молебны, заказываемые перед этими святынями.

И вот эта-то вера, и никакая другая, называемая православной, т. е. настоящей верой, под видом христианской, всеми силами в продолжение многих веков и с особенным напряжением теперь внушается народу.

И пусть не говорят, что православные учителя полагают сущность учения в чем-либо другом, а что это только древние формы, которые не считается нужным разрушать. Это неправда: по всей России всем русским духовенством и в последнее время с особенным напряжением внушается только эта вера. Другого ничего нет. Про другое говорится и пишется в столицах, но среди стомиллионного народа делается только это и внушается только это, и больше ничего. О другом церковники разговаривают, а это они внушают всеми возможными мерами.

Все это и поклонение лицам и иконам внесено в богословие, в катехизисы; этому старательно учат народ теоретически и практически, всеми средствами торжественности, блеска, авторитета, насилия гипнотизируя его, заставляют его верить в это и ревниво оберегают эту веру от каждой попытки освобождения народа от этих диких суеверий.

На моих глазах, как я говорил, по случаю моей книги, в продолжение многих лет учение Христа и его собственные слова о непротивлении злу были предметом насмешек, балаганных шуток, и церковники не только не противились этому, но поощряли это кощунство; но попробуйте сказать непочтительное слово о безобразном идоле, кощунственно развозимом по Москве пьяными людьми под именем Иверской, и поднимется стон негодования этих самых православных церковников. Проповедуется только внешний культ идолопоклонства. И пусть не говорят, что одно не мешает другому, что «сие надлежит делать и того не оставлять», что «всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают» (Мф. XXIII, 23, 3). Это сказано о фарисеях, которые исполняли все внешние предписания закона, и потому слова: «что велят вам соблюдать, соблюдайте», относятся к исполнению обрядов и упущению дел добра и имеют как раз обратный смысл того, который хотят придать этому месту церковники, толкуя так, что соблюдать ведено обряды.

Внешний культ и служение милости и правде трудно совместимы: большею частью одно исключает другое. Так было это у фарисеев, так это и теперь у церковных христиан.

Если человек может спастись искуплением, таинствами, молитвой, то добрые дела уже не нужны ему.

Нагорная проповедь или символ веры: нельзя верить тому и другому. И церковники выбрали последнее: символ веры учится и читается, как молитва и в церквях, а нагорная проповедь исключена даже из чтений евангельских в церквях, так что в церквях никогда, кроме как в те дни, когда читается всё Евангелие, прихожане не услышат ее. Да и не может быть иначе: люди, верующие в злого и безрассудного Бога, — проклявшего род человеческий и обрекшего своего сына на жертву и часть людей на вечное мучение, — не могут верить в Бога любви. Человек, верующий в Бога Христа паки грядущего со славою судить и казнить живых и мертвых, не может верить в Христа, повелевающего подставлять щеку обидчику, не судить, прощать и любить врагов. Человек, верующий в боговдохновенность Ветхого Завета и святость Давида, завещающего на смертном одре убийство старика, оскорбившего его и которого он сам не мог убить, так как был связан клятвою (3-я Книга Царей, глава 2, стих 8), и тому подобные мерзости, которыми полон Ветхий Завет, не может верить в нравственный закон Христа; человек, верующий в учение и проповедь церкви о совместимости с христианством казней, войн, не может уже верить в братство всех людей.

Главное же, человек, верующий в спасение людей верою в искупление или в таинства, не может уже все силы свои полагать на исполнение в жизни нравственного учения Христа.

Человек, наученный церковью тому кощунственному учению о том, что человек не может спастись своими силами, а что есть другое средство, неизбежно будет прибегать к этому средству, а не к своим силам, на которые, его уверяют, грех надеяться. Учение церковное — всякое, с своим искуплением и таинствами, исключает Христово учение, тем более учение православное с своим идолопоклонством. «Но народ сам так всегда верил, так верит теперь, — скажут на это. — Вся история русского народа доказывает это. Нельзя лишить народа его предания». В этом-то и обман. Народ когда-то точно исповедовал нечто подобное тому, что исповедует теперь церковь, хотя далеко не то же самое (в народе, кроме этого изуверства икон, домовых, мошей и семииков с венками и березками, всегда было еще глубокое нравственное жизненное понимание христианства, которого никогда не было во всей церкви, а встречалось только в лучших представителях ее); но народ, несмотря на все препятствия, которые в этом ставило ему государство и церковь, давно уже пережил в лучших представителях своих эту грубую степень понимания, что он и показывает самозарождающимися везде рационалистическими сектами, которыми кишит теперь Россия и с которыми так безуспешно борются теперь церковники. Народ идет вперед в сознании нравственной, жизненной стороны христианства. И вот тут-то и является церковь с своим не поддерживанием, но усиленным внушением отжившего язычества в своей законченной форме, с своим стремлением втолкнуть опять народ в тот мрак, из которого он выбивается с таким усилием.

«Мы не учим ничему новому народ, но только тому, во что он верует, но только в более совершенной форме», — говорят священники. Это то же самое, что бы делал человек, связывая вырастающего цыпленка и засовывая в скорлупу, из которой он вышел.

Меня часто поражало это комическое, если бы последствия его не были так ужасны, наблюдение о том, как люди, сцепившись кругом, обманывают друг друга и не могут выйти из этого заколдованного круга.

Первый вопрос, первое сомнение начинающего мыслить русского человека есть вопрос об явленных иконах и, главное, о мощах: правда ли, что они нетленны и что от них совершаются чудеса? Сотни и тысячи людей задают себе эти вопросы и затрудняются в разрешении их преимущественно тем, что архиереи, митрополиты и все высокопоставленные люди прикладываются к мощам и чудотворным иконам. Спросить у архиерея и высокопоставленных лиц, зачем они это делают, они скажут, что делают для народа, а народ прикладывается потому, что архиереи и высокопоставленные лица это делают.

Деятельность русской церкви, несмотря на весь тот внешний лоск современности, учености, духовности, который ее члены теперь начинают принимать в своих сочинениях, статьях, в духовных журналах и проповедях, состоит только в том, чтобы не только держать



народ в том состоянии грубого и дикого идолопоклонства, в котором он находился, но еще усиливать и распространять суеверие и религиозное невежество, вытесняя из народа живущее в нем рядом с идолопоклонством жизненное понимание христианства.

Помню, раз в монастырской книжной лавке Оптиной пустыни, я присутствовал при выборе старым мужиком божественных книг для своего грамотного внука. Монах подсовывал ему описание мощей, праздников, явлений икон, псалтырь и т. п. Я спросил старика, есть ли у него Евангелие? Нет. «Дайте ему русское Евангелие», — сказал я монаху. «Это им нейдет», — сказал мне монах.

Это в сжатом виде деятельность нашей церкви.

Но это так только в варварской России, скажет на это европейский или американский читатель. И такое суждение будет справедливо, но только в той мере, в которой это суждение относится к правительству, помогающему церкви совершать ее одуряющее и развращающее действие в России.

Справедливо, что нигде в Европе нет столь деспотического правительства и до такой степени согласного с царствующей церковью. И потому участие власти в развращении народа в России самое сильное; но несправедливо, чтобы церковь русская в своем влиянии на народ отличалась чем-нибудь от какой-либо другой церкви.

Церкви везде одни и те же, и если католическая, англиканская и лютеранская не имеют под рукой такого покорного правительства, как русское, то это происходит не от отсутствия желания воспользоваться таковым.

Церковь как церковь, какая бы она ни была — католическая, англиканская, лютеранская, пресвитерианская, всякая церковь, насколько она церковь, не может не стремиться к тому же, к чему и русская церковь, к тому, чтобы скрыть настоящий смысл учения Христа и заменить его своим учением, которое ни к чему не обязывает, исключает возможность понимания истинного, деятельного учения Христа и, главное, оправдывает существование жрецов, кормящихся на счет народа.

Разве что-либо другое делало и делает католичество с своим запретом чтения Евангелия и с своим требованием нерассуждающей покорности церковным руководителям и непогрешимому папе? Разве что-либо другое, чем русская церковь, проповедует католичество? Тот же внешний культ, те же мощи, чудеса и статуи, чудодейственные Notre-Dames и процессии. Те же возвышенно туманные суждения о христианстве в книгах и проповедях, а когда дойдет до дела, то поддержание самого грубого идолопоклонства.

И разве не то же самое делается и в англиканстве, лютеранстве, во всяком протестантстве, сложившемся в церковь? Те же требования от паствы веры в догматы, выраженные в IV веке и потерявшие всякий смысл для людей нашего времени, и то же требование идолопоклонства, если не перед мощами, иконами, то перед днем субботным и буквой Библии. Всё та же деятельность, направленная на то, чтобы скрыть настоящие требования христианства и на место их поставить ни к чему не обязывающую внешность и *sant*, как прекрасно определяют англичане то самое занятие, которому они особенно подвержены. Среди протестантства эта деятельность особенно заметна потому, что нет у этого исповедания даже отговорки древности. И разве не то же самое происходит и в теперешнем ривайвелизме — обновленном кальвинизме, евангелизме, из которого выродилась армия спасения.

Как одинаково положение всех церковных учений по отношению к учению Христа, так одинаковы и их приемы.

Положение их таково, что им нельзя не напрягать все усилия на то, чтобы скрыть учение Христа, именем которого они пользуются.

Несоответствие всех церковных исповеданий с учением Христа ведь таково, что нужны особенные усилия, чтобы скрыть это несоответствие от людей. В самом деле, ведь стоит только вдуматься в положение каждого взрослого, не только образованного, но самого простого человека нашего времени, набравшегося носящихся в воздухе понятий о геологии, физике, химии, космографии, истории, когда он в первый раз сознательно отнесется к тем, в детстве внушенным ему и поддерживаемым церквами, верованиям о том, что Бог сотворил мир в шесть дней; свет прежде солнца, что Ной засунул всех зверей в свой ковчег и т. п.; что Иисус есть тоже Бог-сын, который творил всё до времени; что этот Бог сошел на землю за грех Адама; что он

воскрес, вознесся и сидит одесную отца и придет на облаках судить мир и т. п.

Ведь все эти положения, выработанные людьми IV века и имевшие для людей того времени известный смысл, для людей нашего времени не имеют никакого. Люди нашего времени могут устами повторять эти слова, но верить не могут, потому что слова эти, как то, что Бог живет на небе, что небо раскрылось и оттуда сказал голос что-то, что Христос воскрес и полетел куда-то на небо и опять придет откуда-то на облаках и т. п., — не имеют для нас смысла.

Можно было человеку, считавшему небо конечным, твердым сводом, верить или не верить, что Бог сотворил небо, что небо раскрылось, что Христос улетел на небо, но для нас все эти слова не имеют никакого значения. Люди нашего времени могут только верить, что в это надо верить, что они и делают; но верить не могут в то, что для них не имеет смысла.

Если же все эти выражения должны иметь иносказательный смысл и суть прообразы, то ведь мы знаем, что, во-первых, не все церковники согласны в этом, а, напротив, большинство настаивает на понимании священного писания в прямом смысле, а во-вторых, то, что толкования эти очень многообразны и ничем не подтверждаются.

Но, даже если человек и захочет заставить себя верить учению церкви, так, как оно преподается, — всеобщее распространение грамотности и Евангелий и общение между собою людей разных исповеданий составляют для этого другое еще более непреодолимое препятствие.

Ведь стоит только человеку нашего времени купить за 3 копейки Евангелие и прочесть ясные, не подлежащие перетолкованию слова Христа к самарянке о том, что отцу нужны поклонники не в Иерусалиме, не на той горе и не на этой, а поклонники в духе и истине, или слова о том, что молиться христианин должен не как язычник в храмах и на виду, а тайно, т. е. в своей клетке, или что ученик Христа никого не должен называть отцом или учителем, стоит только прочесть эти слова, чтобы убедиться, что никакие духовные пастыри, называющиеся учителями в противоположность учению Христа и спорящие между собою, не составляют никакого авторитета и что то, чему нас учат церковники, не есть христианство. Но мало и этого: если бы человек нашего времени и продолжал верить в чудеса и не читал бы Евангелия, одно общение с людьми других исповеданий и вер, сделавшееся столь легким в наше время, заставит человека усомниться в истинности своей веры. Хорошо было человеку, не выдавшему людей другого исповедания, чем он сам, верить, что его исповедание — одно истинное; но стоит только думающему человеку столкнуться, как это теперь беспрестанно случается, с людьми одинаково добрыми и злыми разных исповеданий, осуждающих веры друг друга, чтобы усомниться в истинности исповедуемой им веры. В наше время только человек совершенно невежественный или совершенно равнодушный к вопросам жизни, освящаемым религией, может оставаться в церковной вере.

Какие же нужны церквам усилия, чтобы, несмотря на все эти разрушающие веру условия, продолжать строить церкви, служить обедни, проповедовать, учить, обращать и, главное, получать за это огромное содержание, как все эти священники, пастыри, интенданты, суперинтенданты, аббаты, архидиаконы, епископы и архиепископы.

Нужны особенные, сверхъестественные усилия. И такие усилия, все более и более напрягая их, и употребляют церкви. У нас в России (кроме всех других) употребляется простое, грубое насилие покорной церкви власти. Людей, отступающих от внешнего выражения веры и высказывающих это, или прямо наказывают, или лишают прав; людей же, строго держащихся внешних форм веры, награждают, дают права.

Так поступают православные; но и все церкви без исключения пользуются всеми для этого средствами, из которых главное — то, что теперь называется гипнотизацией.

Пускаются в дело все искусства от архитектуры до поэзии для воздействия на души людей и для одурения их, и воздействие это происходит непрерывное. Особенно очевидна эта необходимость гипнотизирующего воздействия на людей для приведения их в состояние одурения на деятельности армии спасения, употребляющей новые, не привычные нам приемы труб, барабанов, песней, знамен, нарядов, шествий, плясок, слез и драматических приемов.

Но это нас поражает только потому, что это новые приемы; разве старые приемы храмов с особенным освещением, с золотом, блеском, свечами, хорами, органом, колоколами, ризами, плаксивыми проповедями и т. п. не то же самое?

Но, как ни сильно это действие гипнотизации, не в этом главная и самая злобедная деятельность церквей. Главная и наизлобеднейшая деятельность церкви есть та, которая направлена на обман детей, тех самых детей, про которых Христос сказал, что горе тому, кто соблазнит единого из малых сих. С самого первого пробуждения сознания ребенка его начинают обманывать, с торжественностью внушать ему то, во что не верят сами внушающие, и внушать до тех пор, пока обман не срастется посредством привычки с природой ребенка. Ребенка старательно обманывают в самом важном деле в жизни, и когда обман так сросся с его жизнью, что уже трудно оторвать его, тогда перед ребенком открывают весь мир науки и действительности, который никаким образом не может совместиться с внушенными ему верованиями, предоставляя ему разбираться самому, как он умеет, в этих противоречиях.

Ведь если поставить себе задачей запутать человека так, чтобы он не мог с здоровым умом выбраться из внушенных ему с детства двух противоположных мирозозерцаний, то нельзя ничего придумать сильнее того, что совершается над всяким молодым человеком, воспитываемым в нашем так называемом христианском обществе.

Ужасно то, что делают над людьми церкви, но если вдуматься в их положение, то тем людям, которые составляют учреждение церквей, иначе поступать нельзя. Перед церквами стоит дилемма: нагорная проповедь или Никейский символ — одно исключает другое: если человек искренно поверит в нагорную проповедь, Никейский символ неизбежно потеряет для него смысл и значение и вместе с ним церковь и ее представители; если же человек поверит в Никейский символ, т. е. в церковь, т. е. в тех, которые называют себя представителями ее, то нагорная проповедь станет для него излишняя. И потому церквам нельзя не употреблять всех возможных усилий для затемнения смысла нагорной проповеди и для привлечения к себе людей. Только благодаря напряженной деятельности церквей в этом направлении держалось до сих пор влияние церквей. Останови церковь хоть на самый короткий срок это воздействие на массы гипнотизацией и обманом детей, и люди поймут учение Христа. А понимание учения уничтожает церкви и значение их. И потому церкви ни на мгновение не прекращают усиленной деятельности и гипнотизации взрослых и обмана детей. И вот эта-то деятельность церквей, внушающая людям ложное понимание учения Христа, и служит препятствием понимания его для большинства людей, так называемых верующих.

#### IV

Теперь скажу о другом мнимом понимании христианства, мешающем истинному пониманию его, — о понимании научном.

Церковные люди считают христианством то представление о нем, которое они себе составили, и это-то понимание христианства считают единым несомненно истинным.

Люди науки считают христианством только то, что исповедовали и исповедуют различные церкви, и, предполагая, что исповедания эти исчерпывают всё значение христианства, признают его отжившим свое время религиозным учением.

Для того, чтобы ясно было, как невозможно при таком взгляде понять христианское учение, необходимо составить себе понятие о том месте, которое в действительности занимали и занимают религии вообще и, в частности, христианская в жизни человечества, и о том значении, которое приписывается им наукой.

Как отдельный человек не может жить, не имея известного представления о смысле своей жизни, и всегда, хотя часто и бессознательно, соображает свои поступки с этим придаваемым им своей жизни смыслом, так точно и совокупности людей, живущих в одинаковых условиях — народы, не могут не иметь представления о смысле их совокупной жизни и вытекающей из нее деятельности. И как отдельный человек, вступая в новый возраст, неизбежно изменяет свое понимание жизни, и взрослый человек видит смысл ее в ином, чем ребенок, так точно и совокупность людей, народа, неизбежно, соответственно возрасту своему, изменяет свое понимание жизни и вытекающую из этого понимания деятельность.

Различие в этом отношении отдельного человека от всего человечества состоит в том, что, тогда как отдельный человек в определении свойственного тому новому периоду жизни, в который он вступает, понимания жизни и вытекающей из него деятельности пользуется

указаниями прежде живших его людей, переживших уже тот возраст, в который он вступает, человечество не может иметь этих указаний, потому что оно всё подвигается по не исследованному еще пути и не у кого спросить, как надо понимать жизнь и действовать в тех новых условиях, в которые оно вступает и в которых еще никто никогда не жил.

А между тем как человеку женатому и с детьми невозможно продолжать понимать жизнь так же, как он понимал ее, будучи ребенком, так и человечеству нельзя уже, при совершившихся разнообразных изменениях: и густоты населения, и установившегося общения между разными народами, и усовершенствования способов борьбы с природой, и накопления знаний, — продолжать понимать жизнь по-прежнему, а необходимо установить новое жизнепонимание, из которого и вытекла бы и деятельность, соответствующая тому новому состоянию, в которое оно вступило или вступает.

На это-то требование и отвечает особенная способность человечества выделять из себя людей, дающих новый смысл всей жизни человеческой, — смысл, из которого вытекает вся иная, чем прежняя, деятельность. Установление этого свойственного человечеству в тех новых условиях, в которые оно вступает, жизнепонимания и вытекающей из него деятельности и есть то, что называется религия.

И потому религия, во-первых, не есть, как это думает наука, явление, когда-то сопутствовавшее развитию человечества, но потом пережитое им, а есть всегда присущее жизни человечества явление, и в наше время столь же неизбежно присущее человечеству, как и во всякое другое время. Во-вторых, религия всегда есть определение деятельности будущего, а не прошедшего, и потому очевидно, что исследование прошедших явлений ни в каком случае не может захватить сущности религии.

Сущность всякого религиозного учения — не в желании символического выражения сил природы, не в страхе перед ними, не в потребности к чудесному и не во внешних формах ее проявления, как это думают люди науки. Сущность религии в свойстве людей пророчески предвидеть и указывать тот путь жизни, по которому должно идти человечество, в ином, чем прежде, определении смысла жизни, из которого вытекает и иная, чем прежняя, вся будущая деятельность человечества.

Свойство этого провидения того пути, по которому должно идти человечество, в большей или меньшей степени обще всем людям; но всегда во все времена были люди, в которых это свойство проявлялось с особенной силой, и люди эти ясно и точно выражали то, что смутно чувствовали все люди, и устанавливали новое понимание жизни, из которого вытекала иная, чем прежняя, деятельность, на многие сотни и тысячи лет.

Таких пониманий жизни мы знаем три: два уже пережитых человечеством, и третье, которое мы теперь переживаем в христианстве. Пониманий таких три, и только три, не потому, что мы произвольно соединили различные жизнепонимания в эти три, а потому, что поступки всех людей имеют всегда в основе одно из этих трех жизнепониманий, потому что иначе, как только этими тремя способами, мы не можем понимать жизнь.

Три жизнепонимания эти следующие: первое — личное, или животное, второе — общественное, или языческое, и третье — всемирное, или Божеское.

По первому жизнепониманию жизнь человека заключается в одной его личности; цель его жизни — в удовлетворении воли этой личности. По второму жизнепониманию жизнь человека заключается не в одной его личности, а в совокупности и последовательности личностей; в племени, семье, роде, государстве; цель жизни заключается в удовлетворении воли этой совокупности личностей. По третьему жизнепониманию жизнь человека заключается и не в своей личности и не в совокупности и последовательности личностей, а в начале и источнике жизни — в Боге.

Эти три жизнепонимания служат основой всех существовавших и существующих религий.

Дикарь признает жизнь только в себе, в своих личных желаниях. Благо его жизни сосредоточено в нем одном. Высшее благо для него есть наиполнейшее удовлетворение его похоти. Двигатель его жизни есть личное наслаждение. Религия его состоит в умиловании божества к своей личности и в поклонении воображаемым личностям богов, живущим только для личных целей.

Человек языческий, общественный признает жизнь уже не в одном себе, но в совокупности личностей — в племени, семье, роде, государстве, и жертвует для этих совокупностей своим личным благом. Двигатель его жизни есть слава. Религия его состоит в возвеличении глав союзов: родоначальников, предков, государей и в поклонении богам — исключительным покровителям его семьи, его рода, народа, государства<sup>3</sup>.

Человек божеского жизнепонимания признает жизнь уже не в своей личности и не в совокупности личностей (в семье, роде, народе, отечестве или государстве), а в источнике вечной, неумирающей жизни — в Боге; и для исполнения воли Бога жертвует и своим личным, и семейным, и общественным благом. Двигатель его жизни есть любовь. И религия его есть поклонение делом и истиной началу всего — Богу.

Вся жизнь историческая человечества есть не что иное, как постепенный переход от жизнепонимания личного, животного к жизнепониманию общественному и от жизнепонимания общественного к жизнепониманию божескому. Вся история древних народов, продолжавшаяся тысячелетия и заканчивающаяся историей Рима, есть история замены животного, личного жизнепонимания общественным и государственным. Вся история со времени императорского Рима и появления христианства есть, переживаемая нами и теперь, история замены государственного жизнепонимания божеским.

Вот это-то последнее жизнепонимание и основанное на нем христианское учение, руководящее всей нашей жизнью и лежащее в основе всей нашей деятельности, как практической, так и научной, люди мнимой науки, рассматривая его только по его внешним признакам, признают чем-то отжившим и не имеющим для нас значения.

Учение это, по мнению людей науки, заключающееся только в его догматической стороне — в учении о троице, искуплении, чудесах, церкви, таинствах и пр., — есть только одна из огромного количества религий, которые возникали в человечестве и теперь, сыграв свою роль в истории, отживает свое время, уничтожаясь перед светом науки и истинного просвещения.

Происходит то, что в большей части случаев служит источником самых грубых заблуждений людских: люди, стоящие на низшей степени понимания, встречаясь с явлениями высшего порядка, — вместо того чтобы сделать усилия, чтобы понять их, чтобы подняться на ту точку зрения, с которой должно смотреть на предмет, — обсуживают его с своей низшей точки зрения, и с тем большей смелостью и решительностью, чем меньше они понимают то, о чем говорят.

Для большинства научных людей, рассматривающих жизненное нравственное учение Христа с низшей точки зрения общественного жизнепонимания, учение это есть только весьма неопределенное, нескладное соединение индийского аскетизма, стоического и неоплатонического учения и утопических антисоциальных мечтаний, не имеющих никакого серьезного значения для нашего времени, и все значение его сосредоточивается для них в его внешних проявлениях: в католичестве, протестантстве, догматах, борьбе с светской властью. Определяя по этим явлениям значение христианства, они подобны глухим, которые судили бы о значении и достоинстве музыки по виду движений музыкантов.

От этого происходит то, что все эти люди, начиная от Конта, Страуса, Спенсера и Ренана, не понимая смысла речей Христа, не понимая того, чему и зачем они сказаны, не понимая даже и вопроса, на который они служат ответом, не давая себе даже труда вникнуть в смысл их, прямо, если они враждебно настроены, отрицают разумность учения; если же они хотят быть снисходительны к нему, то с высоты своего величия поправляют его, предполагая, что Христос хотел сказать то самое, что они думают, но не сумел этого сделать. Они обращаются с его учением так, как большею частью, поправляя слова своего собеседника, говорят самоуверенные люди с тем, кого они считают много ниже себя: «Да, вы собственно хотите сказать то-то и то-то». Поправка эта делается всегда в том смысле, чтобы учение высшего, божеского

<sup>3</sup> То, что на этом общественном или языческом жизнепонимании основываются столь разнообразные складывания жизни, как жизнь племенная, семейная, родовая, государственная и даже теоретически представляемая позитивистами жизнь человечества, это не нарушает единства этого жизнепонимания. Все эти разнообразные формы жизни основаны на одном представлении о том, что жизнь личности не есть достаточная цель жизни, что смысл жизни может быть найден только в совокупности личностей.

жизнепонимания свести к низшему, общественному.

Обыкновенно говорят, что нравственное учение христианства хорошо, но преувеличено, — что для того, чтобы оно было вполне хорошо, надо откинуть от него излишнее, не подходящее к нашему строю жизни. «А то учение, требующее слишком многого, неисполнимого, хуже, чем то, которое требует от людей возможного, соответственно их силам», — думают и утверждают ученые толкователи христианства, повторяя при этом то, что давно уже утверждали и утверждают и не могли не утверждать о христианском учении те, которые, не поняв его, распяли за то учителя, — евреи.

Оказывается, что перед судом ученых нашего времени закон еврейский: зуб за зуб и око за око, — закон справедливого возмездия, известный человечеству 5000 лет тому назад, более целесообразен, чем закон любви, 1800 лет тому назад проповеданный Христом на место этого самого закона справедливости.

Оказывается, что всё то, что было сделано теми людьми, которые поняли учение Христа прямо и жили сообразно с таким пониманием, — всё то, что делали и говорили все истинные христиане, все христианские подвижники, всё то, что преобразовывает мир теперь под видом социализма и коммунизма, всё это преувеличения, о которых не стоит и говорить.

Люди, 18 веков воспитанные в христианстве, в лице своих передовых людей, ученых, убедились в том, что христианское учение есть учение о догматах; жизненное же учение есть недоразумение, есть преувеличение, нарушающее настоящие законные требования нравственности, соответствующие природе человека, и что то самое учение справедливости, которое отверг Христос, на месте которого он поставил свое учение, гораздо пригоднее нам.

Ученым людям заповедь непротivления злу насилieм кажется преувеличением и даже неразумием. Если откинуть ее, то будет гораздо лучше, думают они, не замечая того, что они толкуют вовсе не об учении Христа, а о том, что им представляется таковым.

Они не замечают того, что сказать, что в учении Христа заповедь о непротivлении злу насилieм есть преувеличение, всё равно что сказать, что в учении о круге положение о равенстве радиусов круга есть преувеличение. И те, которые говорят это, делают совершенно то же, что делал бы человек, не имеющий понятия о том, что есть круг, который бы утверждал, что требование того, чтобы все точки окружности были в равном расстоянии от центра, — есть преувеличение. Советовать откинуть или умерить положение о равенстве радиусов в круге — значит не понимать того, что есть круг. Советовать откинуть или умерить в жизненном учении Христа заповедь о непротivлении злу насилieм — значит не понимать учения.

И те, которые делают это, действительно совершенно не понимают его. Они не понимают того, что учение это есть установление нового понимания жизни, соответствующего тому новому состоянию, в которое вот уже 1800 лет вступили люди, и определение той новой деятельности, которая из него вытекает. Они не верят тому, что Христос хотел сказать то, что сказал: или им кажется, что он по увлечению, по неразумию, по неразвитости своей говорил в нагорной проповеди и других местах.

(Мф. VI, 25-34)

25) Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? 26) Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницу; и отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 27) Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один локоть. 28) И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут. 29) Но говорю вам, что Соломон, во всей славе своей, не одевался так, как всякая из них. 30) Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! 31) Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть или что нам пить, или во что одеться. 32) Потому что всего этого ищут язычники, и потому что отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 33) Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это всё приложится вам. 34) Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.

(Лука. XII, 33, 34)

Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища неветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает; ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет.

Продай имение твое и иди за мной, и кто не оставит отца или мать, и детей и братьев, и поля и дом, — тот не может быть моим учеником.

Отвергнись от себя, возьми крест свой на каждый день и иди за мной. Пища моя в том, чтобы творить волю пославшего меня и совершать дело его. Не моя воля да будет, но твоя; не то, что я хочу, но то, что ты хочешь, и не так, как я хочу, а как ты хочешь. Жизнь в том, чтобы творить не свою волю, но волю Бога.

Все эти пожелания кажутся людям, стоящим на низшем жизнепонимании, выражением какого-то восторженного увлечения, не имеющего никакого прямого приложения к жизни. А между тем эти положения так же строго вытекают из жизнепонимания христианского, как положение об отдаче труда для общего дела, о жертве своей жизни для защиты отечества вытекает из жизнепонимания общественного.

Как человек общественного жизнепонимания говорит дикарю: опомнись, одумайся! Жизнь твоей личности не может быть истинной жизнью, потому что жизнь эта бедственна и преходяща. Только жизнь совокупности и последовательности личностей: племени, семьи, рода, государства, продолжается и живет, и потому человек должен жертвовать своей личностью для жизни семьи, государства. Точно то же говорит христианское учение человеку жизнепонимания совокупного, общественного. Покайтесь, т. е. одумайтесь, а то погибнете. Поймите, что эта плотская, личная жизнь, нынче возникшая и завтра уничтожающаяся, ничем не может быть обеспечена, что никакие внешние меры, никакое устройство ее не может придать ей твердости, разумности. Одумайтесь и поймите, что жизнь, которой вы живете, не есть настоящая жизнь; жизнь семьи, жизнь общества, жизнь государства не спасет от гибели. Жизнь истинная, разумная возможна для человека только в той мере, в которой он может быть участником не семьи или государства, но источника жизни, отца; в той мере, в которой он может слить свою жизнь с жизнью отца. Таково несомненно жизнепонимание христианское видное в каждом изречении Евангелия.

Можно не разделять этого жизнепонимания, можно отрицать его, можно доказывать неточность, неправильность его; но невозможно судить об учении, не усвоив того жизнепонимания, из которого оно вытекает, а тем более невозможно судить о предмете высшего порядка с низшей точки зрения: глядя на фундамент, судить о колокольне. А это самое делают люди научные нашего времени. Делают они это потому, что находятся в подобном же церковным людям заблуждении о том, что они обладают такими приемами изучения предмета, что если только употреблены эти приемы, называемые научными, то не может уже быть сомнения в истинности понимания обсуждаемого предмета.

Это-то обладание мнимым непогрешимым их орудием познания и служит главным препятствием понимания христианского учения для людей неверующих и так называемых научных, мнением которых и руководится все огромное большинство неверующих, так называемых образованных людей. Из этого-то мнимого понимания вытекают все заблуждения научных людей о христианском учении и в особенности два странных недоразумения, более всего другого препятствующие правильному пониманию его.

Одно из этих недоразумений то, что христианское жизненное учение неисполнимо и потому или вовсе не обязательно, т. е. не должно быть принимаемо за руководство, или должно быть видоизменено, умерено до тех пределов, в которых исполнение его возможно в нашем обществе. Другое недоразумение то, что христианское учение любви к Богу и потому служение Ему есть требование неясное, мистическое, не имеющее определенного предмета любви, которое поэтому должно быть заменено более точным и понятным учением о любви к людям и служении человечеству.

Первое недоразумение о неисполнимости учения состоит в том, что люди общественного жизнепонимания, не понимая того способа, которым руководит людей христианское учение, и принимая христианское указание совершенства за правила, определяющие жизнь, думают и говорят, что следование учению Христа невозможно, потому что полное исполнение требований

этого учения уничтожает жизнь. «Если бы человек исполнил то, что проповедуется Христом, то он уничтожил бы свою жизнь; и если бы все люди исполнили это, то прекратился бы и род человеческий», — говорят они.

«Не заботясь о завтрашнем дне, — о том, что есть и что пить, во что одеться; не защищая свою жизнь, не противясь злу насилием, отдавая свою жизнь за других своя и соблюдая полное целомудрие, человек и человеческий род не могут существовать», — думают и говорят они.

И они совершенно правы, если принимать указания совершенства, даваемые учением Христа, за правила, которые каждый обязан исполнять так же, как в общественном учении всякий обязан исполнять правило уплаты податей, участия в суде и т.п.

Недоразумение состоит именно в том, что учение Христа руководит людьми иным способом, чем руководят учения, основанные на низшем жизнепонимании. Учения общественного жизнепонимания руководят только требованием точного исполнения правил или законов. Учение Христа руководит людьми указанием им того бесконечного совершенства Отца небесного, к которому свойственно произвольно стремиться всякому человеку, на какой бы ступени несовершенства он ни находился.

Недоразумение людей, судящих о христианском учении с точки зрения общественного, состоит в том, что они, предполагая, что совершенство, указываемое Христом, может быть вполне достигнуто, спрашивают себя (так же, как они спрашивают себя, предполагая, что законы общественные будут исполнены), что будет, когда это все будет исполнено? Предположение это ложно, потому что совершенство, указываемое христианам, бесконечно и никогда не может быть достигнуто; и Христос дает свое учение, имея в виду то, что полное совершенство никогда не будет достигнуто, но что стремление к полному, бесконечному совершенству постоянно будет увеличивать благо людей и что благо это поэтому может быть увеличиваемо до бесконечности.

Христос учит не ангелов, но людей, живущих животной жизнью, движущихся ею. И вот к этой животной силе движения Христос как бы прикладывает новую, другую силу сознания божеского совершенства — направляет этим движение жизни по равнодействующей из двух сил.

Полагать, что жизнь человеческая пойдет по направлению, указанному Христом, все равно, что полагать, что лодочник, переплывая быструю реку и направляя свой ход почти прямо против течения, поплывет по этому направлению.

Христос признает существование обеих сторон параллелограмма, обеих, вечных, неуничтожимых сил, из которых слагается жизнь человека: силу животной природы и силу сознания сыновности Богу. Не говоря о силе животной, которая, сама себя утверждая, остается всегда равна сама себе и находится вне власти человека, Христос говорит только о силе божеской, призывая человека к наибольшему сознанию ее, к наибольшему освобождению ее от того, что задерживает ее, и к доведению ее до высшей степени напряжения.

В этом освобождении — увеличении этой силы и состоит, по учению Христа, истинная жизнь человека. Истинная жизнь, по прежним условиям, состоит в исполнении правил закона; по учению Христа она состоит в наибольшем приближении к указанному и сознаваемому каждым человеком в себе божескому совершенству, в большем и большем приближении к слиянию своей воли с волей Божией, слиянию, к которому стремится человек и которое было бы уничтожением той жизни, которую мы знаем.

Божеское совершенство есть асимптота жизни человеческой, к которому она всегда стремится и приближается и которое может быть достигнуто ею только в бесконечности.

Учение христианское кажется исключаяющим возможность жизни только тогда, когда люди указание идеала принимают за правило. Только тогда представляются уничтожающими жизнь те требования, которые предъявляются учением Христа. Требования эти, напротив, одни дают возможность истинной жизни. Без этих требований невозможна бы была истинная жизнь.

«Нельзя требовать слишком многого», говорят обыкновенно люди, обсуждая требования христианского учения; «нельзя требовать того, чтобы совсем не заботиться о будущем, как это сказано в Евангелии, но надо только не слишком много заботиться; нельзя отдавать бедным всего, но надо отдавать известную, определенную часть; не надо стремиться к девственности, но надо избегать разврата; не надо оставлять жену и детей, но надо не иметь к ним слишком



большого пристрастия» и т.д.

Но говорить так — все равно, что говорить человеку, переплывающему быструю реку и направляющему свой ход против течения, что нельзя переплыть реку, направляясь против течения, что для того, чтобы переплыть ее, надо плыть по тому направлению, по которому он хочет идти.

Учение Христа тем отличается от прежних учений, что оно руководит людьми не внешними правилами, а внутренним сознанием возможности достижения божеского совершенства. И в душе человека находятся не умеренные правила справедливости и филантропии, а идеал полного, бесконечного божеского совершенства. Только стремление к этому совершенству отклоняет направление жизни человека от животного состояния к божескому настолько, насколько это возможно в этой жизни.

Для того, чтобы пристать к тому месту, к которому хочешь, надо всеми силами направлять ход гораздо выше.

Спустить требования идеала значит не только уменьшить возможность совершенства, но уничтожить самый идеал. Идеал, действующий на людей, есть не выдуманный кем-то идеал, но идеал, носимый в душе каждым человеком. Только этот идеал полного бесконечного совершенства действует на людей и подвигает их к деятельности. Умеренное совершенство теряет свою силу воздействия на души людей.

Учение Христа только тогда имеет силу, когда оно требует полного совершенства, т.е. слияния божеской сущности, находящейся в душе каждого человека, с волей Бога, — соединения сына с Отцом. Только это освобождение сына Божия, живущего в каждом человеке, из животного и приближение его к Отцу и составляет жизнь по учению Христа.

Существование в человеке животного, только животного, не есть жизнь человеческая. Жизнь по одной воле Бога тоже не есть жизнь человеческая. Жизнь человеческая есть составная из жизни животной и жизни божеской. И чем более приближается эта составная к жизни божеской, тем больше жизни.

Жизнь, по учению христианскому, есть движение к божескому совершенству. Ни одно состояние по этому учению не может быть выше или ниже другого. Всякое состояние, по этому учению, есть только известная, сама по себе безразличная ступень к недостижимому совершенству и потому само по себе не составляет ни большей, ни меньшей степени жизни. Увеличение жизни, по этому учению, есть только ускорение движения к совершенству. И потому движение к совершенству мытаря Закхея, блудницы, разбойника на кресте составляет высшую степень жизни, чем неподвижная праведность фарисея. И потому-то для этого учения не может быть правил, обязательных для исполнения. Человек, стоящий на низшей ступени, подвигаясь к совершенству, живет нравственнее, лучше, более исполняет учение, чем человек, стоящий на гораздо более высокой ступени нравственности, но не подвигающийся к совершенству.

В этом-то смысле заблудшая овца дороже Отцу заблудшихся. Блудный сын, потерянная и опять найденная монета дороже тех, которые не пропадали.

Исполнение учения — в движении от себя к Богу. Очевидно, что для такого исполнения учения не может быть определенных законов и правил. Всякая степень совершенства и всякая степень несовершенства равны перед этим учением; никакое исполнение законов не составляет исполнения учения; и потому для учения этого нет и не может быть обязательных правил и законов.

Из этого коренного отличия учения Христа от всех предшествующих учений, основанных на общественном непонимании, происходит и различие заповедей общественных от заповедей христианских. Заповеди общественные большей частью положительные, предписывающие известные поступки, оправдывающие людей, дающие им праведность. Заповеди же христианские (заповедь любви не есть заповедь в тесном смысле слова, а выражение самой сущности учения), пять заповедей нагорной проповеди — все отрицательные и показывают только то, чего на известной степени развития человечества люди могут уже не делать. Заповеди эти суть как бы заметки на бесконечном пути совершенства, к которому идет человечество, той степени совершенства, которая возможна в известный период развития человечества.

В нагорной проповеди выражены Христом и вечный идеал, к которому свойственно стремиться людям, и та степень его достижения, которая уже может быть в наше время достигнута людьми.

Идеал состоит в том, чтобы не иметь зла ни на кого, не вызвать недоброжелательства ни в ком, любить всех; заповедь же, указывающая степень, ниже которой вполне возможно не спускаться в достижении этого идеала, в том, чтобы не оскорблять людей словом. И это составляет первую заповедь.

Идеал — полное целомудрие даже в мыслях; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться в достижении этого идеала, — чистота брачной жизни, воздержание от блуда. И это составляет вторую заповедь.

Идеал — не заботиться о будущем, жить настоящим часом; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться — не клясться, вперед не обещать ничего людям. И это — третья заповедь.

Идеал — никогда ни для какой цели не употреблять насилия; заповедь, указывающая степень, ниже которой вполне возможно не спускаться, — не платить злом за зло, терпеть обиды, отдавать рубаху. И это — четвертая заповедь.

Идеал — любить врагов, ненавидящих нас; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться, — не делать зла врагам, говорить о них доброе, не делать различия между ними и своими согражданами.

Все эти заповеди суть указания того, чего на пути стремления к совершенству мы имеем полную возможность уже не делать, — того, над чем мы должны работать теперь, — того, что понемногу мы должны переводить в область привычки, в область бессознательного. Но заповеди эти не только не составляют учения и не исчерпывают его, но составляют только одну из бесчисленных ступеней его в приближении к совершенству.

За этими заповедями должны и будут следовать высшие и высшие по пути совершенства, указываемого учением.

И потому христианскому учению свойственно заявлять требования высшие, чем те, которые выражены в этих заповедях; но никак не умахивать требованиями ни самого идеала, ни этих заповедей, как это делают люди, судящие об учении христианства с точки зрения общественного непонимания.

Таково одно недоразумение людей научных относительно значения и смысла учения Христа. Другое, вытекающее из этого же источника, состоит в замене христианского требования любви к Богу и служения Ему любовью и служением людям — человечеству.

Христианское учение любви к Богу и служения Ему и (только вследствие этой любви и служения) любви и служения ближнему кажется людям научным неясным, мистическим и произвольным, и они исключают совершенно требование любви и служения Богу, полагая, что учение об этой любви к людям, к человечеству гораздо понятнее, тверже и более обосновано.

Научные люди теоретически учат тому, что жизнь осмысленная и добрая есть только жизнь служения всему человечеству; и в этом самом учении видят смысл христианского учения; к этому учению сводят христианское учение; для этого своего учения отыскивают подтверждение в христианском учении, предполагая, что их учение и христианское — одно и то же.

Мнение это совершенно ошибочно. Христианское учение и учение позитивистов, коммунистов и всех проповедников всемирного братства людей, основанное на выгоды этого братства, не имеют ничего общего между собой и отличаются друг от друга в особенности тем, что учение христианское имеет твердые, ясные основы в душе человеческой; учение же любви к человечеству есть только теоретический вывод по аналогии.

Учение о любви к одному человечеству имеет в основе своей общественное непонимание.

Сущность общественного непонимания состоит в перенесении смысла своей личной жизни в жизнь совокупности личностей: племени, семьи, рода, государства. Перенесение это совершалось и совершается легко и естественно в первых своих формах, в перенесении смысла жизни из своей личности в племя, семью. Перенесение же в род или народ уже труднее и требует особенного воспитания для этого; перенесение же сознания в государство уже

составляет предел такого перенесения.

Любить себя естественно каждому, и каждый себя любит без поощрения к этому, любить свое племя, поддерживающее и защищающее меня, любить жену — радость и помощь жизни, своих детей — утеху и надежды жизни, и своих родителей, давших жизнь и воспитание, — естественно; и любовь эта, хотя далеко не столь сильная, как любовь к себе, встречается довольно часто.

Любить для себя, для своей гордости свой род, свой народ хотя уже не так естественно, все-таки встречается. Любовь своего одноплеменного, одноязычного, одноверного народа еще возможна, хотя чувство это далеко не такое сильное не только как любовь к себе, но и к семье или роду; но любовь к государству, как Турция, Германия, Англия, Австрия, Россия, — уже почти невозможная вещь и, несмотря на усиленное воспитание в этом направлении, только предполагается и не существует в действительности. На этой совокупности уже кончается возможность для человека переносить свое сознание и испытывать в этой фикции какое-либо непосредственное чувство. Позитивисты же и все проповедники научного братства, не принимая во внимание ослабление чувства по мере расширения предмета, теоретически рассуждают далее в том же направлении. «Если, — говорят они, — личности было выгодно перенести свое сознание в племя, семью, а потом в народ, государство, то еще выгоднее будет перенести свое сознание в совокупность всего человечества и всем жить для человечества так же, как люди живут для семьи, для государства».

Оно теоретически действительно так выходит. Переноса сознание и любовь личности в семью, из семьи в род, народ, государство, было бы вполне логично и людям для избавления себя от борьбы и бедствий, которые происходят от разделения человечества на народы и государства, естественнее всего перенести свою любовь на человечество. Казалось бы, это логичнее всего, и теоретически проповедают это, не замечая того, что любовь есть чувство, которое можно иметь, но которое нельзя проповедовать, и что, кроме того, для любви должен быть предмет, а человечество не есть предмет, а только фикция.

Племя, семья, даже государство не выдуманы людьми, но образовались сами собой, как рой пчел, муравьев, и действительно существуют. Человек, любящий для своей животной личности семью, знает, кого он любит: Анну, Марью, Ивана, Петра и т.д. Человек, любящий род и гордящийся им, знает, что он любит всех гвельфов или всех гибеллинов любящий государство знает, что он любит Францию по берег Рейна и Пиренеи, и главный город ее Париж, и ее историю и т.д. Но что любит человек, любящий человечество? Есть государство, народ, есть отвлеченное понятие: человек; но человечества, как реального понятия нет и не может быть.

Человечество? Где предел человечества? Где оно кончается или начинается? Кончается ли человечество дикарем, идиотом, алкоголиком, сумасшедшим включительно? Если мы проведем черту, отделяющую человечество, так что исключим низших представителей человеческого рода, то где мы проведем черту? Исключим ли мы негров, как их исключают американцы, и индийцев, как их исключают некоторые англичане, и евреев, как их исключают некоторые? Если же мы захватим всех людей без исключения, то почему же мы захватим одних только людей, а не высших животных, из которых многие выше низших представителей человеческого рода?

Человечество мы не знаем, как внешний предмет, не знаем пределов его. Человечество есть фикция, и его нельзя любить. Действительно, очень выгодно бы было, если бы люди могли любить человечество, как они любят семью; было бы очень выгодно, как про это толкуют коммунисты, заменить соревновательное направление деятельности людской общинным или индивидуальное -универсальным, чтобы каждый для всех и все для одного, да только нет для этого никаких мотивов.

Позитивисты, коммунисты и все проповедники научного братства проповедают расширять ту любовь, которую люди имеют в себе, и к своим семьям, и к государству на все человечество, забывая то, что любовь, которую они проповедают, есть любовь личная, которая могла, разжижаясь, распространиться до естественного отечества, которая совершенно исчезает, касаясь искусственного государства, как Австрия, Англия, Турция, и которой мы даже не можем себе представить, когда дело касается всего человечества, предмета вполне мистического.

«Человек любит себя (свою животную жизнь), любит семью, любит даже отечество. Отчего же бы ему не полюбить и человечество? Так бы это хорошо было. Кстати же это самое

проповедует и христианство». Так думают проповедники позитивного, коммунистического, социалистического братства. Действительно, это бы было очень хорошо, Но никак этого не может быть, потому что любовь, основанная на личном и общественном непонимании, дальше любви к государству идти не может.

Ошибка рассуждения в том, что непонимание общественное, на котором основана любовь к семье и к отечеству, зиждется на любви к личности и что эта любовь, переносясь от личности к семье, роду, народности, государству, все слабеет и слабеет и в государстве доходит до своего последнего предела, дальше которого она идти не может.

Необходимость расширения области любви несомненна; но вместе с тем эта самая необходимость расширения ее в действительности уничтожает возможность любви и доказывает недостаточность любви личной, человеческой.

И вот тут-то проповедники позитивистического, коммунистического, социального братства на помощь этой оказавшейся несостоятельной человеческой любви предлагают христианскую любовь, но только в ее последствиях, но не в ее основах: они предлагают любовь к одному человечеству без любви к Богу.

Но любви такой не может быть. Для нее нет никакого мотива. Христианская любовь вытекает только из христианского непонимания, по которому смысл жизни состоит в любви и служении Богу.

Естественным ходом от любви к себе, потом к семье, к роду, к народу, государству, общественное непонимание привело людей к сознанию необходимости любви к человечеству, не имеющему пределов и сливающимся со всем существующим, — к чему-то не вызывающему в человеке никакого чувства, привело к противоречию, которое не может быть разрешено общественным непониманием.

Только христианское учение во всем его значении, давая новый смысл жизни, разрешает его. Христианство признает любовь и к себе, и к семье, и к роду, и к человечеству, не только к человечеству, но ко всему живому, ко всему существующему, признает необходимость бесконечного расширения области любви; но предмет этой любви оно находит не вне себя, не в совокупности личностей: в семье, роде, государстве, человечестве, во всем внешнем мире, но в себе же, в своей личности, но личности божеской, сущность которой есть та самая любовь, к потребности расширения которой приведена была личность животная, спасаясь от сознания своей погибельности.

Различие христианского учения от прежних — то, что прежнее учение общественное говорило: живи противно твоей природе (подразумевая одну животную природу), подчиняй ее внешнему закону семьи, общества, государства; христианство говорит: живи согласно твоей природе (подразумевая божественную природу), не подчиняй ее ничему, — ни своей, ни чужой животной природе, и ты достигнешь того самого, к чему ты стремишься, подчиняй внешним законам свою внешнюю природу.

Христианское учение возвращает человека к первоначальному сознанию себя, но только не себя животного, а себя — Бога, искры Божьей, себя — сына Божия, Бога такого же, как и Отец, но заключенного в животную оболочку. И сознание себя этим сыном Божиим, главное свойство которого есть любовь, удовлетворяет и всем тем требованиям расширения области любви, к которой был приведен человек общественного непонимания. Так, при все большем и большем расширении области любви для спасения личности, любовь была необходимостью и приурочивалась к известным предметам: к себе, семье, обществу, человечеству; при христианском мировоззрении любовь есть не необходимость и не приурочивается ни к чему, есть существенное свойство души человека. Человек любит не потому, что ему выгодно любить того-то и тех-то, а потому, что любовь есть сущность его души, потому что он не может не любить.

Христианское учение есть указание человеку на то, что сущность его души есть любовь, что благо его получается не оттого, что он будет любить того-то и того-то, а оттого, что он будет любить начало всего — Бога, которого он сознает в себе любовью, и потому будет любить всех и все.

В этом состоит основное различие христианского учения от учения позитивистов и всех теоретиков нехристианского учения от учения позитивистов и всех теоретиков нехристианского

всемирного братства.

Таковы два главных недоразумения относительно христианского учения, из которых вытекает большинство ложных суждений о нем. Одно — что учение Христа поучает людей, как прежние учения, правилам, которым люди обязаны следовать, и что правила эти неисполнимы; другое то, что все значение христианства состоит в учении о выгодном сожитии человечества, как одной семьи, для чего, не упоминая о любви к Богу, нужно только следовать правилу любви к человечеству.

Ложное мнение научных людей, что учение о сверхъестественном составляет сущность христианского учения и что жизненное учение его неприложимо, вместе с вытекающим из этого ложного мнения недоразумением и составляет другую причину непонимания христианства людьми нашего времени.

## V

Причин непонимания учения Христа много. Причина и в том, что люди полагают, что они поняли учение это, когда решили, как это делают церковники, что оно сверхъестественным способом передано им; или, как это делают люди научные, что они поняли его, когда изучили часть тех внешних явлений, которыми оно выразилось. Причина непонимания — и в недоразумениях о неисполнимости учения и о том, что оно должно быть заменено учением о любви к человечеству, но главная причина, породившая все эти недоразумения, — та, что учение Христа считается таким учением, которое можно принять или не принять, не изменяя своей жизни.

Люди, привыкшие к существующему порядку вещей, любящие его, боящиеся изменить его, стараются понять учение как собрание откровений и правил, которые можно принять, не изменяя своей жизни, тогда как учение Христа не есть только учение о правилах, которым должен следовать человек, но выяснение нового смысла жизни, определяющего всю, совсем иную, чем прежняя, деятельность человечества в тот период, в который она вступает.

Жизнь человеческая движется, проходит, как жизнь отдельного человека, возрасты, и каждый возраст имеет соответствующее ему жизнепонимание, и жизнепонимание это неизбежно усваивается людьми. Те люди, которые не усваивают соответствующего возрасту жизнепонимания сознательно, приводятся к этому бессознательно. То, что происходит с изменением взглядов на жизнь отдельных людей, то же происходит и с изменением взглядов на жизнь народов и всего человечества. Если человек семейный продолжает руководствоваться в своей деятельности ребяческим жизнепониманием, то жизнь его делается так трудна ему, что он невольно будет искать иного жизнепонимания и охотно усвоит то, которое свойственно его возрасту.

То же происходит и теперь в нашем человечестве при переходе, переживаемом нами, от языческого жизнепонимания к христианскому. Общественный человек нашего времени приводится самую жизнь к необходимости отречься от языческого понимания жизни, несвойственного теперешнему возрасту человечества, и подчиниться требованиям христианского учения, истины которого, как бы они ни были извращены и перетолкованы, все-таки известны ему и одни представляют разрешение тех противоречий, в которых он путается.

Если человеку общественного жизнепонимания кажутся странными и даже опасными требования христианского учения, то точно столь же странными, непонятными и опасными представлялись в давнишние времена дикарю требования учения общественного, когда еще он не вполне понимал их и не мог предвидеть их последствий.

«Неразумно жертвовать своим спокойствием или жизнью», говорит дикарь, «чтобы защищать что-то непонятное и неосоздаемое, условное: семью, род, отечество, и главное — опасно отдавать себя в распоряжение чуждой власти». Но пришло время для дикаря, когда, с одной стороны, он хотя и смутно, но понял значение общественной жизни, значение главного двигателя ее, общественного одобрения или осуждения, — славы; с другой стороны, когда страдания его личной жизни стали так велики, что он не мог уже продолжать верить в истинность своего прежнего понимания жизни, и он принял учение общественное,

государственное и подчинился ему.

Точно то же теперь совершается и с человеком общественным, государственным. «Неразумно», говорит человек общественный, «жертвовать благом своим, своей семьи, своего отечества для исполнения требований какого-то высшего закона, требующего от меня отречения от самых естественных и добрых чувств любви к себе, к своей семье, к родине, к отечеству и главное — опасно отвергать обеспечение жизни, даваемое государственным устройством».

Но приходит время, когда, с одной стороны, смутное сознание в душе своей высшего закона любви к Богу и ближнему, с другой — страдания, вытекающие из противоречий жизни, заставляют человека отречься от жизнепонимания общественного и усвоить новое, предлагаемое ему, разрешающее все противоречия и устраняющее страдания его жизни — жизнепонимание христианское. И время это пришло теперь.

Нам, пережившим тысячелетия назад уже переход от жизнепонимания животного, личного к жизнепониманию общественному, кажется, что тот переход был необходим и естественен, а этот — тот, который мы переживаем теперь, эти последние 1800 лет — и произволен, и неестественен, и страшен. Но это нам кажется только потому, что тот переход уже совершен и деятельность его уже перешла в бессознательную; теперешний переход еще не окончен, и мы сознательно должны совершить его.

Жизнепонимание общественное входило в сознание людей веками, тысячелетиями, проходило через разные нормы и теперь уже вошло для человечества в область бессознательного, передаваемого наследственностью, воспитанием и привычкой; и потому оно кажется нам естественным. Но 5000 лет тому назад оно казалось людям столь же неестественным и страшным, как им теперь кажется учение христианское в его настоящем смысле.

Нам кажется теперь, что требования христианского учения о всеобщем братстве, без различия народностей, об отсутствии собственности, о столь кажущемся странным непотворении злу насилем суть требования невозможного. Но точно такими же казались тысячелетия тому назад в более древние времена требования не только государственные, но семейные, как, например: требование того, чтобы родители кормили детей, молодые — старых, чтобы супруги были верны друг другу. Еще более странными, даже безумными, казались требования государственные: чтобы граждане подчинялись поставленной власти, платили подати, шли на войну для защиты отечества и т.д. Нам теперь кажется, что все такие требования просты, понятны, естественны и не имеют в себе ничего мистического и даже странного; но пять или три тысячи лет тому назад эти требования казались требованиями невозможного.

Жизнепонимание общественное потому и служило основанием религий, что в то время, когда оно предъявлялось людям, оно казалось им вполне непонятым, мистическим и сверхъестественным. Теперь, пережив уже этот фазис жизни человечества, нам понятны разумные причины соединения людей в семьи, общины, государства; но в древности требования такого соединения предъявлялись во имя сверхъестественного и подтверждались им.

Патриархальные религии обоготворяли семьи, роды, народы; государственные религии обоготворяли царей и государства. Даже и теперь большая часть малообразованных людей, как наши крестьяне, называющие царя земным Богом, подчиняются законам общественным не по разумному сознанию их необходимости, не потому, что они имеют понятие об идее государства, а по религиозному чувству.

Точно так же и теперь христианское учение представляется людям общественного или языческого мирозерцания в виде сверхъестественной религии, тогда как в действительности в нем нет ничего ни таинственного, ни мистического, ни сверхъестественного; а оно есть только учение о жизни, соответствующее той степени материального развития, тому возрасту, в котором находится человечество и которое поэтому неизбежно должно быть принято им.

Придет время и приходит уже, когда христианские основы жизни равенства, братства людей, общности имуществ, непотворения злу насилем — сделаются столь же естественными и простыми, какими теперь нам кажутся основы жизни семейной, общественной, государственной.

Ни человек, ни человечество не могут в своем движении возвращаться назад. Жизнепонимание общественное, семейное и государственное пережито людьми, и надо идти

вперед и усвоить следующее высшее жизнепонимание, что и совершается теперь.

Движение это совершается с двух сторон: и сознательно — вследствие духовных причин и бессознательно — вследствие причин материальных.

Как очень редко отдельный человек изменяет свою жизнь только по указаниям разума, а большей частью, несмотря на новый смысл и новые цели, указываемые разумом, продолжает жить прежнею жизнью и изменяет ее только тогда, когда жизнь его становится совсем противоречащей его сознанию и вследствие того мучительной, точно так же человечество, узнав через своих религиозных руководителей новый смысл жизни, новые цели, к которым ему нужно стремиться, долго ещё и после этого познания продолжает в большинстве людей жить прежней жизнью и приводится к принятию нового жизнепонимания только сознанием невозможности продолжения прежней жизни.

Несмотря на требования изменения жизни, сознанные, высказанные религиозными руководителями и принятые разумнейшими людьми, большинство людей, несмотря на религиозное отношение к этим руководителям, т.е. веру в их учение, продолжает в усложнившейся жизни руководствоваться прежним учением, подобно тому как поступал бы семейный человек, если бы, зная о том, как следует жить в его возрасте, по привычке и по легкомыслию продолжал бы жить ребяческой жизнью.

Это-то и происходит в деле перехода человечества от одного возраста к другому, которое мы переживаем теперь. Человечество выросло из своего общественного, государственного возраста и вступило в новый. Оно знает то учение, которое должно быть положено в основу жизни этого нового возраста, но по инерции продолжает держаться прежних форм жизни. Из этого несоответствия жизнепонимания с практикой жизни вытекает ряд противоречий и страданий, отравляющих нашу жизнь и требующих ее изменения.

Ведь стоит только сличить практику жизни с ее теорией, чтобы ужаснуться перед тем вопиющим противоречием условий жизни и нашего сознания, в котором мы живем.

Вся жизнь наша есть сплошное противоречие всему тому, что мы знаем и что считаем нужным и должным. Противоречие это — во всем: и в экономической, и государственной, и международной жизни. Мы, как будто забыв то, что знаем, и на время отложив то, во что мы верим (не можем не верить, потому что это наши единственные основы жизни), делаем все наыворот тому, чего требуют от нас наша совесть и наш здравый смысл.

Мы руководимся в экономических, государственных и международных отношениях теми основами, которые были годны людям три и пять тысяч лет тому назад и которые прямо противоречат и теперешнему нашему сознанию, и тем условиям жизни, в которых мы находимся теперь.

Хорошо было человеку древности жить среди деления людей на рабов и господ, когда он верил, что деление это от Бога и что не может быть иначе. Но разве возможно подобное деление в наше время?

Человек древнего мира мог считать себя вправе пользоваться благами мира сего в ущерб другим людям, заставляя их страдать поколениями, потому что он верил, что люди рождаются разной породы, черной и белой кости, Яфетова и Хамова отродья. Величайшие мудрецы мира, учителя человечества Платон, Аристотель не только оправдывали существование рабов и доказывали законность этого, но даже три века тому назад люди, писавшие о воображаемом обществе будущего, утопии, не могли представить себе его без рабов.

Люди древности и даже средних веков верили, точно верили, что люди не равны, что настоящие люди только персы, только греки, только римляне, только французы; но ведь нам нельзя уже верить в это. И те люди, которые в наше время распинаются за аристократизм и за патриотизм, не верят, не могут верить в то, что они говорят.

Мы все знаем и не можем не знать, если бы даже мы никогда и не слыхали и не читали ясно выраженной этой мысли и никогда сами не выражали ее, мы, всосав это носящееся в христианском воздухе сознание, — все, всем сердцем знаем и не можем не знать ту основную истину христианского учения, ту, что мы все сыны одного отца, все, где бы мы ни жили и на каком бы языке ни говорили, — все братья и подлежим только одному закону любви, общим отцом нашим вложенному в наши сердца.

Каков бы ни были образ мыслей и степень образования человека нашего времени, будь он

образованный либерал какого бы то ни было оттенка, будь он философ какого бы то ни было толка, будь он научный человек, экономист какой бы то ни было школы, будь он необразованный, даже религиозный человек какого бы то ни было исповедания, — всякий человек нашего времени знает, что люди все имеют одинаковые права на жизнь и блага мира, что одни люди не лучше и не хуже других, что все люди равны. Всякий знает это несомненно твердо всем существом своим и вместе с тем не только видит вокруг себя деление всех людей на две касты: одну трудящуюся, угнетенную, нуждающуюся и страдающую, а другую — праздную, угнетающую и роскошествующую и веселящуюся, — не только видит, но волей-неволей с той или другой стороны принимает участие в этом отвергаемом его сознанием разделении людей и не может не страдать от сознания такого противоречия и участия в нем.

Будет ли он господином или рабом, человек нашего времени не может не испытывать постоянного мучительного противоречия сознания с действительностью и вытекающих из него страданий.

Рабочая масса, большое большинство людей, страдая от постоянного, поглощающего всю их жизнь, бессмысленного, беспросветного труда и лишений, страдает больше всего от сознания вопиющего противоречия того, что есть, с тем, что должно бы быть по всему тому, что исповедуется ими самими и теми, которые поставили их в это положение и удерживают в нем.

Они знают, что они в рабстве и гибнут в нужде и мраке для того, чтобы служить похотям меньшинства, держащего их в рабстве. Они знают и высказывают это. И это сознание не только увеличивает, но составляет сущность их страдания.

Древний раб знал, что он раб от природы, а наш рабочий, чувствуя себя рабом, знает, что ему не надо быть рабом, и потому испытывает мучения Тантала, вечно желая и не получая того, что не только могло, но должно бы быть. Страдания для рабочих классов, происходящие от противоречия между тем, что есть и что должно быть, удесятятся вытекающими из этого сознания завистью и ненавистью.

Рабочий нашего времени, если бы даже работа его и была много легче работы древнего раба, если бы он даже добился восьмичасового дня и платы трех долларов за день, не перестанет страдать, потому что, работая вещи, которыми он не будет пользоваться, работая не для себя по своей охоте, а по нужде, для прихоти вообще роскошествующих и праздных людей и, в частности, для наживы одного богача, владельца фабрики или завода, он знает, что всё это происходит в мире, в котором признается не только научное положение о том, что только работа есть богатство, что пользование чужими трудами есть несправедливость, незаконность, казнямая законами, но в мире, в котором исповедуется учение Христа, по которому мы все братья и достоинство и заслуга человека только в служении ближнему, а не в пользовании им.

Он знает всё это и не может не страдать мучительно от этого вопиющего противоречия всего того, что должно бы быть, и того, что есть. «По всем данным и по всему, что я знаю, что исповедуют все, — говорит себе рабочий человек, — я бы должен быть свободен, равен всем другим людям, любим, а я — раб, я унижен и ненавидим». И он сам ненавидит и ищет средств спастись от своего положения, свергнуть с себя навалившегося на него врага и самому сесть на него. Говорят: «Рабочие неправы тем, что они хотят сесть на место капиталистов, бедные на место богатых». Это неправда: рабочие и бедные были бы неправы, если бы они этого хотели в том мире, в котором признаются от Бога установленные рабы и господа, богатые и бедные; но они хотят этого в том мире, в котором исповедуется учение евангельское, первое положение которого есть сыновность людей Богу и потому братство и равенство всех людей. И как ни стараются люди, нельзя скрыть того, что одно из первых условий христианской жизни есть любовь не на словах, а на деле.

Еще в большем противоречии и страдании живет человек так называемого образованного класса. Всякий такой человек если верит во что-нибудь, то верит если и не в братство людей, то в гуманность, если не в гуманность, то в справедливость, если не в справедливость, то в науку, и вместе с тем знает, что вся его жизнь построена на условиях, прямо противоположных всему этому, всем положениям и христианства, и гуманности, и справедливости, и науки.

Он знает, что все привычки, в которых он воспитан, лишение которых было бы для него мучением, все они могут удовлетворяться только мучительным, часто губительным трудом угнетенных рабочих, т. е. самым очевидным, грубым нарушением тех принципов христианства,



гуманности, справедливости, даже научности (я разумею требования политической экономии), которые он исповедует. Он исповедует принципы братства, гуманности, справедливости, научности и не только живет так, что ему необходимо то угнетение рабочих, которое он отрицает, но так, что вся жизнь его есть пользование этим угнетением, и не только живет так, но и направляет свою деятельность на поддержание этого порядка вещей, прямо противоположного всему тому, во что он верит.

Мы все братья, а между тем каждое утро брат или сестра выносит мой горшок. Мы все братья, а мне утром необходима сигара, сахар, зеркало и т. п. предметы, на работе которых теряли и теряют здоровье мои, равные мне, братья и сестры, а я пользуюсь этими предметами и даже требую их. Мы все братья, а я живу тем, что работаю в банке или в торговом доме и лавке над тем, чтобы сделать все нужные моим братьям товары дороже. Мы все братья, а я живу тем, что получаю жалованье за то, чтобы уличать, судить и казнить вора или проститутку, существование которых обусловлено всем складом моей жизни и которых я сам знаю, что надо не казнить, а исправлять. Мы все братья, но я живу тем, что получаю жалованье за собирание податей с бедных рабочих для употребления их на роскошь праздных и богатых. Мы все братья, а я получаю жалованье за то, чтобы проповедовать людям мнимохристианскую веру, в которую я сам не верю, лишаящую их возможности узнать истинную. Я получаю жалованье как священник, епископ за то, что обманываю людей в самом важном для них деле. Мы все братья, но я отдаю бедным свои педагогические, врачебные, литературные труды только за деньги. Мы все братья, а я получаю жалованье за то, что готовлюсь к убийству, учусь убивать или делаю оружие, порох, крепости.

Вся жизнь наших высших классов есть сплошное противоречие, тем более мучительное, чем чутче нравственное сознание человека.

Человек с чуткой совестью не может не страдать, если он живет этой жизнью. Одно средство для него избавиться от этого страдания — в том, чтобы заглушить свою совесть, но, если и удастся таким людям заглушить совесть, они не могут заглушить страх.

Нечуткие и заглушившие совесть люди высших угнетающих классов если не страдают совестью, страдают страхом и ненавистью. И им нельзя не страдать. Они знают про ту ненависть против них, которая живет и не может не жить в рабочих классах, знают, что рабочие знают, что они обмануты и изнасилованы, и начинают организовываться, чтобы скинуть с себя угнетение и отплатить угнетателям. Высшие классы видят союзы, стачки, 1-е мая и чуют ту беду, которая угрожает им, и страх этот отравляет им жизнь. Они чуют ту беду, которая угрожает им, и страх, который они испытывают, переходит в чувство самозащиты и в ненависть. Они знают, что если на минуту ослабнут в борьбе с угнетаемыми ими рабами, то сами погибнут, потому что рабы озлоблены и озлобление это растет с каждым днем угнетения. Угнетающие, если бы они и желали этого, не могут перестать угнетать. Они знают, что сами погибнут, как скоро не только перестанут, но ослабеют в угнетении. Они и делают это, несмотря на мнимые заботы о благоденствии рабочего, о 8-часовом дне, о запрещении работ малолетним и женщинам, о пенсиях и вознаграждениях. Всё это обман или забота о том, чтобы раб был в силах работать; но раб остается рабом, и господин, не могущий жить без раба, меньше чем когда-нибудь готов освободить его.

Правящие классы по отношению рабочих находятся в положении подмявшего под себя противника и держащего, не выпуская его, не столько потому, что он не хочет выпустить его, сколько потому, что он знает, что стоит ему выпустить на мгновение подмятого, чтобы самому быть сейчас же зарезанным, потому что подмятый озлоблен и в руке его нож. И потому, будут ли они чутки или не чутки, наши богатые классы не могут наслаждаться теми благами, которые они похитили у бедных, как это делали древние, веровавшие в свое право. Вся жизнь и все наслаждения их отравлены укорами совести или страхом.

Таково противоречие экономическое. Еще поразительнее противоречие государственное.

Все люди прежде всего воспитываются в привычках повиновения государственным законам. Вся жизнь людей нашего времени определена государственным законом. Человек женится и разводится, воспитывает детей, даже исповедует веру (во многих государствах) сообразно закону. Что же такое этот закон, определяющий всю жизнь людей? Верят ли люди в этот закон? Считают ли его истинным? Нисколько. В большинстве случаев люди нашего

времени не верят в справедливость этого закона, презирают его, а все-таки повинуются ему. Хорошо было людям древности исполнять свои законы. Они верили, точно верили в то, что закон их (он же большею частью был религиозный) был единственный истинный закон, которому должны подчиняться все люди. Но мы? Ведь мы знаем и не можем не знать, что закон нашего государства не только не есть один вечный закон, но что это только один из многих законов разных государств, одинаково несовершенных, а часто и явно ложных и несправедливых, со всех сторон обсуждавшихся в газетах. Хорошо было еврею подчиняться своим законам, когда он не сомневался в том, что их писал пальцем Бог; или римлянину, когда он думал, что их писала нимфа Егерия; или даже когда верили, что цари, дающие законы, — помазанники Божий; или хоть тому, что собрания законодательные имеют и желание и возможность найти наилучшие законы. Но ведь мы знаем, как делаются законы, мы все были за кулисами, мы все знаем, что законы суть произведения корысти, обмана, борьбы партий, — что в них нет и не может быть истинной справедливости. И потому люди нашего времени не могут верить тому, чтобы повиновение законам гражданским или государственным удовлетворяло бы требованиям разумности человеческой природы. Люди давно уже знают, что неразумно повиноваться такому закону, в истинности которого может быть сомнение, и потому не могут не страдать, повинувшись закону, разумность и обязательность которого не признают.

Не может человек не страдать, когда вся его жизнь вперед определена законами, которым он должен повиноваться под угрозой наказания и — разумности, справедливости которых он не только не верит, но несправедливость, жестокость, неестественность которых он часто ясно сознает. Мы признаем ненужность таможен и заграничных пошлин и должны платить их; признаем бесполезными расходы на содержание двора и многих чинов управления; признаем вредной проповедь церковную и должны участвовать в поддержании этих учреждений; мы признаем жестокими и бессовестными наказания, накладываемые судами, и должны участвовать в них; признаем неправильным и вредным распределение земельной собственности и должны подчиняться ему; не признаем необходимости войск войн и должны нести страшные тяжести для содержания войск и ведения войн и т. д.

Но и это противоречие ничто в сравнении с противоречием, которое в международных сношениях восстало теперь перед людьми под угрозой гибели и человеческого разума и человеческой жизни требует разрешения. Это противоречие христианского сознания и войны.

Мы, все христианские народы, живущие одной духовной жизнью, так что всякая добрая, плодотворная мысль, возникающая на одном конце мира, тотчас же сообщаясь всему христианскому человечеству, вызывает одинаковые чувства радости и гордости независимо от национальности; мы, любящие не только мыслителей, благодетелей, поэтов, ученых чужих народов; мы, гордящиеся подвигом Дамиана, как своим собственным; мы, просто любящие людей чужих национальностей: французов, немцев, американцев, англичан; мы, не только уважающие их качества, но радующиеся, когда встречаемся с ними, радостно улыбающиеся им, не могущие не только считать подвигом войну с этими людьми, но не могущие без ужаса подумать о том, чтобы между этими людьми и нами могло возникнуть такое разногласие, которое должно бы было быть разрешено взаимным убийством, — мы все призваны к участию в убийстве, которое неизбежно, не нынче, так завтра должно совершиться.

Ведь, хорошо было еврею, греку, римлянину не только отстаивать независимость своего народа убийством, но и убийством же подчинять себе другие народы, когда он твердо верил тому, что его народ один настоящий, хороший, добрый, любимый Богом народ, а все остальные — филистимляне, варвары. Могли верить в это еще и люди средневековые, могли верить недавно еще в конце прошлого и в самом начале нынешнего столетия. Но мы, сколько бы ни раздраживали нас, мы уже не можем верить в это, и противоречие это для людей нашего времени так ужасно, что жить, не разрешив его, стало невозможно.

«Мы живем во время, полное противоречий, — пишет в своем ученом трактате профессор международного права граф Комаровский. — В печати всех стран постоянно выдвигается всеобщее стремление к миру, к необходимости его для всех народов. В том же смысле говорят представители правительств и частные люди, и как официальные органы, в парламентских речах, в дипломатических переговорах и даже во взаимных договорах. В то же время, однако, возвышают правительства ежегодно военную силу страны, накладывают новые подати, делают

займы и оставляют будущим поколениям как завещание обязанность нести ошибки теперешней неразумной политики. Какое кричащее противоречие между словами и делом!»

«Конечно, правительства указывают для оправдания этих мер на исключительно оборонительный характер всех этих расходов и вооружений, но все-таки остается непонятным для всякого незаинтересованного человека, откуда можно ожидать нападения, когда все великие державы единодушно в своей политике преследуют единственную цель обороны. В действительности же это имеет вид такой, как будто каждая из держав ждет ежеминутно нападения на себя других, и последствия этого следующие: всеобщее недоверие и сверхъестественное напряжение правительств превзойти силу других держав. Подобное соревнование увеличивает само по себе опасность войны: народы не могут переносить долго увеличенное вооружение и рано или поздно предпочтут войну всем невыгодам настоящего положения и постоянной угрозы. Так что ничтожнейший повод будет достаточен для того, чтобы во всей Европе загорелся огонь всеобщей войны. Несправедливо думать, что такой кризис может излечить нас от давящих политических и экономических бедствий. Опыт войн, веденных в последние годы, учит нас, что каждая война только обострила враждебность народов, увеличила тяжесть и невыносимость давления милитаризма и сделала политико-экономическое положение Европы только еще печальнее и запутаннее».

«Современная Европа держит под ружьем активную армию в 9 миллионов людей, — пишет Энрико Ферри, — да еще 15 миллионов армии запасной, расходуя на это 4 миллиарда франков в год. Вооружаясь всё более и более, она парализует источники социального и индивидуального благосостояния и легко может быть уподоблена человеку, который для того, чтобы запастись оружием, приговаривает себя к анемии, утрачивая вместе с тем и самые силы свои для пользования тем оружием, которое он запасает и под бременем которого он, наконец, падает».

То же говорит Чарльс Бут в речи своей, читанной в Лондоне в ассоциации для реформы и кодификации закона народов 26 июля 1887 года. Указав те же цифры 9 миллионов с чем-то действительной армии и 17 миллионов запасной и огромные расходы правительств на содержание этих армий и вооружений, он говорит:

«Цифры эти представляют только малую часть действительной стоимости, потому что, кроме этих известных расходов военного бюджета народов, мы должны принять в соображение еще громадные потери общества вследствие извлечения из него такого огромного количества самых сильных людей, потерянных для промышленности и всякого труда, и еще те огромные проценты сумм, затраченных на военные приготовления и ничего не приносящих. Неизбежным последствием этих расходов на войну и приготовлений к войне есть постоянно увеличивающиеся государственные долги. Большая часть государственных долгов Европы была сделана для войны. Общая сумма их 4 миллиарда фунтов, или 40 миллиардов рублей, и долги эти с каждым годом растут».

Тот же Комаровский говорит в другом месте: «Мы живем в тяжелом времени. Везде слышатся жалобы на застой торговли и промышленности и вообще на плохое экономическое положение; указывают на тяжелые условия жизни рабочих классов и на всеобщее обеднение масс. Но, несмотря на это, правительства доходят в своем стремлении к поддержанию своей независимости до крайних пределов неразумного. Везде выдумываются новые подати и налоги, и финансовое угнетение народов не знает пределов. Если мы взглянем на бюджеты европейских государств за последние сто лет, то нас прежде всего поразит постоянно прогрессивный и быстрый рост их. Чем можем мы объяснить это необыкновенное явление, рано или поздно угрожающее всем нам неизбежным банкротством?»

«Происходит это неоспоримо от расходов, вызываемых содержанием войска и поглощающих треть и даже половину бюджетов всех европейских государств. Самое печальное при этом то, что этому возрастанию бюджетов и обеднению масс не предвидится конца. Что такое социализм, как не протест против этого крайне ненормального положения, в котором находится большая часть населения нашей части света».

«Мы разоряемся, — говорит Frederic Passy в записке, читанной на последнем конгрессе (1890 г.) всеобщего мира в Лондоне, — мы разоряемся для того, чтобы иметь возможность принимать участие в безумных бойнях будущего, или для того, чтобы платить проценты долгов,

оставленных нам безумными и преступными бойнями прошедшего. Мы умираем с голода для того, чтобы иметь возможность убивать».

Далее, говоря о том, как смотрит на этот предмет Франция, он говорит: «Мы верим в то, что 100 лет после обнародования прав человека и гражданина пришло время признать права народов и отречься раз навсегда от всех этих предприятий обмана и насилия, которые под названием завоеваний суть истинные преступления против человечества и которые, что бы ни думали о них честолюбие монархов и гордость народов, ослабляют и тех, которые торжествуют».

«Удивляюсь на религиозное воспитание в нашей стране, — говорит Sir Wilfrid Lawson на том же конгрессе. — Мальчик ходит в воскресную школу, и его учат: милый мальчик, ты должен любить врагов. Если товарищ ударит тебя, ты не должен отплачивать ему, а стараться любовью исправить его. Хорошо. Мальчик ходит в воскресную школу до 14-15 лет, а потом друзья его определяют его в военную службу. Что он будет делать в военной службе? Ведь не любить врага, а напротив, если он только доберется до него, — проткнуть его штыком. Таково всё религиозное обучение в этой стране. Я не думаю, чтобы это был лучший способ исполнения предписаний религии. Я думаю, что если мальчику хорошо любить врага, то также это хорошо и взрослому человеку».

Далее: «В Египте 28 000 000 вооруженных людей для разрешения споров, вместо обсуждения, убиванием друг друга. Таков принятый христианскими народами способ разрешения споров. Способ этот вместе с тем очень дорогой, потому что по расчету, который я читал, народы Европы с 1872 года издержали невероятную сумму, 15 миллиардов рублей, на приготовление и разрешение споров посредством убивания друг друга. Мне поэтому кажется, что при таком порядке вещей одно из двух положений должно быть принято: либо то, что христианство не удалось (is a failure), либо то, что те, которые взялись толковать его, неудачно толковали его».

«До тех пор, пока наши броненосцы не будут разоружены и армия наша распущена, мы не имеем права называться христианской нацией», — говорит Mr. I. Sower Wilson.

В беседе, возникшей «по случаю вопроса об обязательности проповеди против войны христианских пастырей, Mr. G. D. Bartlett сказал, между прочим: „Если я хоть сколько-нибудь понимаю писание, — сказал он, — я утверждаю, что люди только играют с христианством, если они игнорируют, т. е. умалчивают о вопросе войны. А между тем я прожил длинную жизнь и едва ли полдюжину раз слышал от наших пастырей проповедь всеобщего мира. 20 лет тому назад я в гостиную перед 40 человеками сказал, что война несовместима с христианством; на меня посмотрели, как на шального фанатика. Мысль о том, что можно жить без войны, была принята как непростительная слабость и безумие“.

В том же духе высказался католический священник аббат Дефурни. «Одно из первых предписаний вечного закона, написанного в совести всех людей, — говорит аббат Дефурни, — есть запрещение отнятия жизни своего ближнего, пролития крови (без достаточной причины, не будучи принужденным к тому необходимостью); это одно из тех предписаний, которое глубже всех других врезано в сердце человеческом... Но как скоро дело касается войны, т. е. пролития крови человеческой потоками, так люди нынешнего времени уже не заботятся о достаточной причине. Те, которые принимают участие в войнах, и не думают уже спрашивать себя, имеют ли какое-либо оправдание эти бесчисленные смертоубийства; справедливы ли они, или нет, — законны или незаконны, невинны или преступны, нарушают ли они, или нет главный закон, запрещающий убивать (без законной причины). Но совесть их молчит... Война перестала быть делом, зависящим от нравственности. Для военных нет другой радости в трудах и опасностях, которые они несут, как та, чтобы быть победителями, другого горя, как то, чтобы быть побежденными. Не говорите мне о том, что они служат отечеству. Уже давно великий гений ответил вам словами, вошедшими в пословицу: „Откиньте справедливость, и что такое государство, как не большое сборище разбойников? И сборище разбойников разве не маленькое государство? И шайки разбойников имеют свои законы. И там сражаются для приобретения добычи и даже для чести...“

Цель этого учреждения (речь идет об учреждении международного трибунала) та, чтобы европейские народы перестали быть народами воров и армии — шайками разбойников, и

должен прибавить — разбойников и воров. Да, армии наши — толпы рабов, принадлежащих одному или двум правителям или министрам, которые тиранически, без всякой ответственности, как мы это знаем, распоряжаются ими...

«Особенность раба в том, что он в руках своего хозяина есть вещь, орудие, а не человек. Таковы солдаты, офицеры, генералы, идущие на убиение и на убийство по произволу правителя или правителей. Рабство военное существует, и это худшее из рабств, особенно теперь, когда оно посредством обязательной службы надевает цепи на шею всех свободных и сильных людей нации, чтобы сделать из них орудия убийства, палачей, мясников человеческого мяса, потому что только для этого их набирают и вышколивают...»

«Правители, в числе двух, трех, сойдясь в кабинетах, тайно сговариваются без протоколов, без гласности, и потому без ответственности, и посылают людей на бойню».

«Протесты против тяжелых для народа вооружений начались не с нашего времени, — говорит сеньор Е. Г. Монэта. — Послушайте то, что писал Монтескье в свое время: «Франция (теперь можно подставить: Европа) погибнет от военных. В Европе распространилась новая болезнь. Она постигла царей и принуждает их содержать невозможное количество войск. Болезнь эта сыпная и потому заразительная, потому что как скоро одно государство увеличивает свои войска, тотчас же все другие делают то же. Так что от этого ничего не получается, кроме общей гибели».

«Каждое правительство содержит столько войска, сколько оно могло бы содержать, если бы его народу угрожало истребление, и люди называют миром состояние напряжения всех противу всех. И потому Европа так разорена, что если бы частные люди были в том положении, в котором находятся правительства этой части света, то самым богатым из них было бы нечем жить. Мы бедны, имея богатства и торговлю всего мира».

«Это писано было почти 150 лет тому назад. Картина, кажется, написана с настоящего. Изменилось одно — образ правления. Во время Монтескье говорили, что причина содержания больших войск была в неограниченной власти королей, которые воевали в надежде увеличить победами свою частную собственность и прославиться».

«Тогда говорили: “Ах, если бы народы могли избирать тех, которые имели бы право отказывать правительствам в солдатах и деньгах, пришел бы конец и военной политике”. Теперь почти во всей Европе представительные правления, и, несмотря на то, военные расходы и приготовления к войне увеличились в страшной пропорции».

«Видно, безумие властителей перешло в руководящие классы. Теперь уже не воюют из-за того, что один король не исполнил учтивости относительно любовницы другого, как это было при Людовике XIV; но, преувеличивая почтенные и естественные чувства национального достоинства и патриотизма и возбуждая общественное мнение одного народа против другого, доходят, наконец, до того, что становится достаточным того, чтобы было сказано, — хотя бы известие и было неверно, — что посланник вашего государства не был принят главой другого государства, для того чтобы разразилась самая ужасная и гибельная война из всех тех, которые когда-либо были. Европа содержит теперь под ружьем больше солдат, чем во время великих наполеоновских войн. Все граждане, за малыми исключениями, принуждены на нашем континенте провести несколько лет в казармах. Строятся крепости, арсеналы и корабли, производят беспрестанно оружия, которые в самое короткое время заменяются другими, потому что наука, которая должна бы была быть направлена всегда на благо человечества, содействует, к сожалению, делу разрушения, придумывает новые и новые средства убивать большие количества людей в наиболее короткое время».

«И для того, чтобы содержать столько солдат и делать такие огромные приготовления к убийству, расходуются ежегодно сотни миллионов, т. е. такие суммы, которые были бы достаточны для воспитания народа и совершения самых огромных работ для общественной пользы и которые дали бы возможность миролюбиво разрешить социальный вопрос».

«Европа находится поэтому в этом отношении, несмотря на все наши научные победы, в таком же положении, в котором она находилась в самые худшие времена зверских Средних веков. Все жалуются на это положение, которое не есть война, но и не есть мир, и все желали бы выйти из него. Главы правительств утверждают, что они все хотят мира, и между ними происходит соревнование о том, кто из них сделает самые торжественные миролюбивые

заявления. Но в тот же день, или на другой, они представляют в законодательном собрании предложение об увеличении вооружений и говорят, что принимают такие предосторожности именно для того, чтобы обеспечить мир».

«Но это не тот мир, который мы любим. И народы не обмануты этим. Истинный мир имеет в основе взаимное доверие, тогда как эти огромные вооружения показывают явное и крайнее недоверие, если не скрытую враждебность между государствами. Что бы мы сказали о человеке, который, желая заявить свои дружественные чувства соседу, пригласил бы его разбирать подлежащие вопросы с заряженным револьвером в руке?»

«Вот это-то вопиющее противоречие между миролюбивыми заявлениями и военной политикой правительств есть то, что, во что бы то ни стало, желают прекратить все добрые граждане».

Удивляются на то, что в Европе совершается ежегодно 60 000 самоубийств, только известных, записанных, и то за исключением России и Турции; но надо удивляться не тому, что самоубийств совершается так много, а тому, что их так мало. Всякий человек нашего времени, если вникнуть в противоречие его сознания и его жизни, находится в самом отчаянном положении. Не говоря о всех других противоречиях жизни и сознания, которые наполняют жизнь человека нашего времени, достаточно одного этого последнего военного положения, в котором находится Европа, и его христианского исповедания для того, чтобы человеку прийти в отчаяние, усомниться в разумности человеческой природы и прекратить жизнь в этом безумном и зверском мире. Противоречие это — военное, заключающее в себе квинтэссенцию всех других противоречий, — так ужасно, что жить, участвуя в нем, можно только, если не думаешь о нем, можешь забыть его.

Как! Мы все христиане, не только исповедуем любовь друг к другу, но действительно живем одной общей жизнью, одними ударами бьется пульс нашей жизни, мы помогаем друг другу, учимся друг у друга, все больше и больше, ко взаимной радости, любовно сближаемся друг с другом! В этом сближении — смысл всей жизни, и завтра какой-нибудь ошалелый глава правительства скажет какую-нибудь глупость, другой ответит такой же, и я пойду, сам подвергаясь убийству, убивать людей, не только мне ничего не сделавших, но которых я люблю. И это не отдаленная случайность, а это то самое, к чему мы все готовимся, и есть не только вероятное, но неизбежное событие.

Достаточно ясно сознать это для того, чтобы сойти с ума или застрелиться. И это самое и случается, и даже особенно часто между военными. Стоит только на минуту опомниться, чтобы прийти к необходимости такого конца. Только этим и объясняется то страшное напряжение, с которым люди нашего времени стремятся к одурманению себя вином, табаком, опиумом, картами, чтением газет, путешествиями, всякими зрелищами и увеселениями. Все эти дела производятся как серьезные, важные дела. Они действительно важные дела. Если бы не было внешних средств отуманивания, половина людей немедленно перестрелялась бы, потому что жить противоречиво своему разуму есть самое непереносимое состояние. А в этом состоянии находятся все люди нашего времени. Все люди нашего времени живут в постоянном вопиющем противоречии сознания и жизни. Противоречия эти выражаются и в экономических и государственных отношениях, но резче всего это противоречие в сознании людьми христианского закона братства людей и необходимости, в которую ставит всех людей общая воинская повинность, каждому быть готовым к вражде, к убийству, — каждому быть в одно и то же время христианином и гладиатором.

## VI

Разрешение противоречий жизни и сознания возможно двумя путями: изменением жизни или сознания. И в выборе из двух, казалось бы, не может быть сомнения.

Человек может перестать делать то, что он считает дурным, но не может перестать считать дурным дурное.

Точно так же и всё человечество может перестать делать то, что оно считает дурным, но не может не только изменить, но и задержать хоть на время всё уясняющего и распространяющегося сознания того, что дурно и чего поэтому не должно быть. Казалось бы,

что выбор между изменением жизни и сознания должен бы быть ясен и не подлежать сомнению.

И потому, казалось бы, неизбежно христианскому человечеству нашего времени отречься от осуждаемых им языческих форм жизни и на признаваемых им христианских основах построить свою жизнь.

Но так бы это было, если бы не было закона инерции, столь же неизменного в жизни людей и народов, сколько в неодушевленных телах, выражающегося для людей психологическим законом, так верно выраженным в Евангелии словами: «И не шли к свету, потому что дела их были злы». Закон этот состоит в том, что большинство людей мыслят не для того, чтобы познать истину, а для того, чтобы уверить себя, что они находятся в истине, чтобы уверить себя в том, что та жизнь, которую они ведут и которая им приятна и привычна, и есть та самая, которая сходится с истиной.

Рабство было противно всем тем нравственным началам, которые проповедовали Платон и Аристотель, а между тем ни тот, ни другой не видели этого, потому что отрицание рабства разрушало всю ту жизнь, которой они жили. То же происходит и в нашем мире.

Разделение людей на две касты, так же как и государственное и военное насилие, противны всем тем нравственным началам, которыми живет наш мир, и вместе с тем передовые, образованные люди нашего времени как будто не видят этого.

Большинство, если не все образованные люди нашего времени бессознательно стараются удержать прежнее общественное жизнепонимание, оправдывающее их положение, и скрыть от себя и людей несостоятельность его и, главное, необходимость усвоения того христианского жизнепонимания, которое разрушает весь строй существующей жизни. Они стремятся поддержать порядки, основанные на общественном жизнепонимании, но сами не верят в него, потому что оно отжито и в него нельзя уже верить.

Вся литература — и философская, и политическая, и изящная — нашего времени поразительна в этом отношении. Какое богатство мыслей, форм, красок, какая эрудиция, изящество, обилие мыслей и какое не только отсутствие серьезного содержания, но какой-то страх перед всякой определенностью мысли и выражения ее! Обходы, иносказания, шулки, общие, самые широкие соображения и ничего простого, ясного, идущего к делу, т. е. к вопросу жизни.

Но мало того, что пишутся и говорятся грациозные ненужности, пишутся и говорятся прямо гадости, дикости, пишутся и говорятся самым утонченным образом рассуждения, возвращающие людей к первобытной дикости, к основам жизни не только языческой, но даже животной, уже 5000 лет тому назад пережитой нами.

Оно и не может быть иначе. Чураясь жизнепонимания христианского, нарушающего для одних только привычный, для других привычный и выгодный порядок, люди не могут не возвращаться назад к языческому жизнепониманию и к учениям, основанным на нем. В наше время проповедуются не только патриотизм и аристократизм так, как он проповедовался 2000 лет тому назад, но самый грубый эпикуреизм, животность, с тою только разницею, что тогда проповедующие его люди верили в то, что проповедовали, теперь же сами проповедующие не верят в то, что говорят, и не могут верить, потому что то, что они проповедуют, уже не имеет смысла. Нельзя оставаться на месте, когда почва движется. Если не идешь вперед, то идешь назад. И странно и страшно сказать — образованные люди нашего времени, передовые люди своими утонченными рассуждениями в сущности влекут общество назад, к состоянию даже не языческому, а к состоянию первобытной дикости.

Ни на чем так не видно это направление деятельности передовых людей нашего времени, как на отношении их к тому явлению, в котором в наше время в концентрированной форме выразилась вся несостоятельность общественного жизнепонимания, — к войне, к всеобщему вооружению и общей воинской повинности.

Неопределенность, если не недобросовестность отношения к этому явлению образованных людей нашего времени поразительна. Отношение к этому в нашем образованном обществе тройко: одни рассматривают это явление как нечто случайное, возникшее от особенного политического положения Европы, и считают его поправимым без изменения всего внутреннего строя жизни народов, внешними дипломатическими международными мерами.

Другие смотрят на это явление как на нечто ужасное, жестокое, но как на неизбежное и роковое, как болезнь или смерть. Третьи спокойно и хладнокровно считают войну явлением необходимым, благодетельным и потому желательным.

Смотрят люди на предмет различно, но как те, так и другие и третьи рассуждают о войне как о событии, совершенно не зависящем от воли людей, участвующих в ней, и потому даже и не допускают того естественного вопроса, представляющегося каждому простому человеку: «Что, мне-то нужно ли принимать в ней участие? По мнению всех этих людей, вопросов этого рода даже не существует, и всякий, как бы он ни смотрел на войну сам лично, должен рабски подчиняться в этом отношении требованиям власти.

Отношение первых, тех, которые спасение от войн видят в дипломатических международных мерах, прекрасно выражается результатом последнего конгресса мира в Лондоне и статьями и письмами о войне выдающихся писателей.

Вот результаты конгресса: собрав с разных концов света от ученых лично или письменно их мнения, конгресс, начав молебствием в соборе и кончив обедом со спичками, в продолжение 5 дней выслушал много речей и пришел к следующим решениям.

Во-1-х, конгресс выразил свое мнение о том, что прямым следствием братства между людьми должно неминуемо быть братство между народами, признающее тождественность интересов каждого народа в отдельности.

Во-2-х, конгресс признал, что христианство имеет влияние на нравственный и политический прогресс человечества, и потому напомнил проповедникам Евангелия и другим лицам, занимающимся духовным воспитанием, о необходимости распространения правил мира и сердечного расположения между людьми. Для этой цели конгресс определил 3-е воскресенье каждого декабря. В этот день должно быть особое провозглашение принципов мира.

В-3-х, конгресс выразил желание, чтобы все учителя истории обращали внимание юношества на страшное зло, которое война всегда причиняла человечеству, и на то обстоятельство, что в большинстве случаев войны возникали вследствие весьма незначительных причин.

В-4-х, конгресс осудил обучение в училищах в виде физических упражнений — военным приемам и предложил заменить военные роты, ныне существующие, спасательными ротами. Конгресс далее выразил желание внушить экзаменационным комиссиям, имеющим обязанность формулировать вопросы ученикам, необходимость направлять умы учеников к принципам мира.

В-5-х, конгресс выразил убеждение, что учение о правах человека требует, чтобы народы дикие и слабые, их собственность и их свобода находили защиту от несправедливости и злоупотреблений и чтобы эти народы были ограждаемы от пороков, столь распространенных между народами, так называемыми цивилизованными. По мнению конгресса, народы должны были бы для этой цели действовать заодно. Конгресс выразил свое сердечное сочувствие заключениям антирабской конференции, заседавшей недавно в Брюсселе и имеющей задачей улучшение быта африканских дикарей.

В-6-х, конгресс выразил убеждение, что, так как воинственные предрассудки и предания, которые еще так глубоко коренятся в некоторых народах, так же как и все те воинственные речи, которые произносятся в законодательных собраниях некоторыми вожаками общественного мнения и которыми наполнены органы печати, нередко являются косвенными причинами войны, то желательно бы было печатать точные сведения об отношениях народов. Для этой цели конгресс предложил основать международную газету, могущую ответить вышеизложенным требованиям.

В-7-х, конгресс предложил комитету советов своим членам при всех удобных случаях отстаивать проекты объединения весов, мер, монет, почтовых, телеграфных тарифов и т. д., могущие способствовать действительному торговому, промышленному и научному единению народов.

В-8-х, ввиду безграничного нравственного и общественного влияния женщин конгресс убеждает их оказать свою поддержку всему тому, что может способствовать миру, ибо иначе на их ответственности должно лежать в большей мере всякое продолжение настоящего военного положения.

В-9-х, конгресс выразил надежду о том, что ассоциация финансовой реформы и другие



подобные общества в Европе и Америке соединятся для обсуждения мер установления справедливых торговых отношений между государствами путем уничтожения пошлин. Конгресс выразил мысль о том, что все цивилизованные народы желают мира и с нетерпением ожидают прекращения всеобщего вооружения. Эти вооружения, будучи производимы якобы для защиты, в свою очередь представляют из себя зло, так как поддерживают недоверие и в то же время являются причиной той всеобщей экономической неурядицы, которая не позволяет приступить, при благоприятных условиях, к тем вопросам о труде и нужде, которые должны были бы быть первыми на очереди.

В-10-х, конгресс признал всеобщее разоружение лучшим ручательством мира и первым шагом к разрешению, ко всеобщему удовольствию, тех вопросов, которые в настоящее время разъединяют государства, и выразил желание, чтобы в скором будущем составилась съезд представителей всех государств Европы для обсуждения мер, могущих вести ко всеобщему постепенному разоружению.

В-11-х, имея в виду то, что нерешительность какого-нибудь одного государства могла бы затормозить созвание вышеупомянутого съезда, конгресс выразил мнение, что то государство, которое первое решится распустить значительную долю своей армии, окажет наиважнейшую услугу Европе и человечеству, так как этим самым заставит другие государства — под давлением общественного мнения — последовать его примеру. Своим же поступком оно, без сомнения, не только не ослабит, а лишь усилит естественные условия защиты своей страны.

В-12-х, имея в виду то, что вопрос о разоружении, так же как и о мире вообще, зависит в значительной мере от общественного мнения, конгресс предложил обществам мира, так же как и всем приверженцам мира, заняться деятельной пропагандой его, особенно во время парламентских выборов, чтобы убедить избирателей подавать голоса за кандидатов, в программу действия которых войдут установление мира, разоружение и третейский суд.

В-13-х, конгресс поздравил друзей мира с решением, принятым международной американской конференцией (Вашингтон, апрель), которым признается желательным обязательный третейский суд во всех спорах и других несогласиях, каково бы ни было их происхождение, исключая тех спорных пунктов, которые могли бы грозить независимости одной из заинтересованных стран.

В-14-х, конгресс обращает на это решение внимание всех европейских и американских государственных людей, в надежде, что в скором будущем подобные договоры будут подписаны остальными нациями ввиду избежания впредь всех столкновений и в то же время для примера другим государствам.

В-15-х, конгресс выразил свое удовольствие и по поводу принятия испанским сенатом (16 июля) законопроекта, разрешающего правительству ходатайствовать об утверждении договоров, составленных с помощью третейского суда для разрешения всех спорных вопросов, исключая тех, которые касаются независимости или внутреннего управления государств.

Конгресс выразил также свое удовольствие по поводу принятия решений подобного же содержания норвежским стортингом и итальянским парламентом в текущем месяце.

В-16-х, конгресс постановил официально обратиться к главным политическим, религиозным, торговым обществам, рабочим союзам с просьбой, чтобы эти общества ходатайствовали перед своими правительствами о принятии необходимых мер для учреждения особой комиссии, в обязанности которой входило бы решение международных несогласий ввиду предупреждения войн.

В-17-х, ввиду того, что: 1) цель, преследуемая всеми обществами мира, состоит в установлении юридического порядка между народами; что 2) нейтрализация путем международных договоров составляет шаг к такому юридическому положению и к уменьшению числа стран, в которых будет возможна война, — конгресс предложил расширить правила о нейтрализации и выразил желание, чтобы все договоры о нейтрализации, уже существующие в настоящее время, оставались и вперед в силе или, в случае нужды, были дополнены в том смысле, чтобы нейтралитет был распространен на всё государство или чтобы были уничтожены крепости, представляющие для всякого нейтралитета скорее опасность, чем ручательство.

Чтобы были составлены новые договоры (согласные желанию народов) для установления нейтралитета остальных государств.

В-18-х, секция комитета предложила: 1) чтобы следующие съезды конгресса мира были назначены либо перед самым заседанием ежегодной международной конференции, либо тотчас же после него и в том же городе; 2) чтобы вопрос о международной эмблеме мира был отложен на неопределенное время.

Чтобы были приняты следующие решения: 1) Выразить удовлетворение по поводу официального предложения со стороны пресвитерианской церкви в Соединенных Штатах верховным представителям каждого религиозного общества христианского исповедания соединиться для общего обсуждения мер, могущих вести к замене войны международным третейским судом.

2) Выразить от лица конгресса глубокое почтение памяти Аврелия Саффи, великого итальянского юриста, члена комитета международного мира и свободы.

3) Чтобы отчеты этого конгресса, подписанные президентом, были по возможности переданы главам всех цивилизованных государств авторитетными депутациями.

4) Чтобы организационный комитет был уполномочен сделать нужные поправки в бумагах и решениях, здесь принятых.

5) Чтобы были приняты следующие решения: а) выразить признательность президентам всех отдельных заседаний конгресса; б) выразить признательность председателю, секретарям и членам бюро конгресса; в) выразить признательность членам различных секций комитета; д) выразить канонику Скотт-Голланд, доктору Ревен Томасу и I. Моргану Гиббону благодарность за их речи перед открытием конгресса и просьбу доставить копии этих речей для печати, а также главам собора св. Павла, Сити Темпля и конгрегационной церкви Стамфорд Гиля за пользование этими зданиями для общественных целей; е) составить благодарственный адрес ее величеству за разрешение посетить Виндзорский замок, ф) и также выразить признательность лорд-мэру, его супруге, мистеру Пасмор Эдвардсу и другим друзьям, оказавшим гостеприимство членам конгресса.

В-19-х, конгресс выразил свою глубокую благодарность всевышнему за замечательное согласие, господствовавшее на собраниях конгресса, на которых столько мужчин и женщин самых разнообразных народностей и вероисповеданий собиралось для тесной совместной работы, и успешное окончание трудов конгресса.

Конгресс выразил твердую и непоколебимую веру в окончательное торжество мира и тех принципов, которые отстаивались на этих собраниях.

Основная мысль конгресса та, что необходимо, во-1-х, распространять всеми средствами между всеми людьми убеждения о том, что война очень невыгодна для людей и что мир есть большое благо, и, во-2-х, действовать на правительства, внушая им преимущества перед войнами международного судилища и поэтому выгоды и необходимости разоружения. Для достижения первой цели конгресс обращается к учителям истории, к женщинам и к духовенству с советом проповедовать людям каждое 3-е воскресенье декабря зло войны и благо мира; для достижения второй — конгресс обращается к правительствам, предлагая им разоружение и замену войны арбитражем.

Проповедовать людям зло войны и благо мира! Но ведь зло войны и благо мира до такой степени известны людям, что, с тех пор как мы знаем людей, самым лучшим пожеланием было приветствие «мир вам», так что же его проповедовать?

Не только христиане, но все язычники тысячи лет тому назад знали зло войны и благо мира. Так что совет проповедникам Евангелия проповедовать о зле войны и благе мира в 3-е воскресенье декабря совершенно излишен.

Христианин не может не проповедовать этого всегда, во все дни своей жизни. Если же христиане и проповедники христианства этого не делают, то на это должны быть причины. И покуда не будут устранены эти причины, никакие советы не будут действительны. Еще менее могут быть действительны советы правительствам, чтобы они распустили войска и заменили их международными судилищами. Правительства тоже очень хорошо знают всю трудность и тяжесть собирания и содержания войск, и если, несмотря на то, с страшными усилиями и напряжением собирают и держат войска, то, очевидно, не могут поступать иначе и совет конгресса никак не может изменить этого. Но ученые никак не хотят видеть этого и всё надеются найти такую комбинацию, при которой (сами) правительства, производящие войны,

ограничили бы сами себя.

«Возможно ли избавиться от войны? — пишет ученый человек. — Все согласны, что если она разразится в Европе, то последствия ее будут подобны великим нашествиям варваров. Дело при предстоящей войне будет идти уже о существовании целых народностей, и потому она будет кровавая, отчаянная, жестокая».

«Это-то соображение вместе с теми страшными орудиями истребления, которыми располагает новейшая наука, задерживает момент объявления войны и удерживает настоящий временный порядок вещей, который мог бы продолжаться на неопределенное время, если бы не те страшные расходы, которые давят европейские народы и угрожают довести народы до бедствий, не меньших тех, которые произведет война».

«Пораженные этой мыслью, люди разных стран искали средства остановить или по крайней мере смягчить последствия страшной бойни, которая угрожает им».

«Таковы вопросы, поставленные на очередь предполагающимся в скором времени конгрессом в Риме и изданием брошюр о разоружении».

«К несчастью, несомненно то, что при теперешнем устройстве большинства европейских государств, удаленных друг от друга и руководимых различными интересами, совершенное прекращение войны есть мечта, которой было бы опасно утешаться. Однако некоторые принятые всеми более разумные законы и постановления при этих дуэлях между народами могли бы значительно уменьшить ужасы войны».

«Одинаково утопично рассчитывать на разоружение, которое почти невозможно, вследствие соображений народного характера, понятного нашим читателям. (Вероятно, это значит, что Франции нельзя разоружаться до реванша.) Общественное мнение не готово для принятия проектов разоружения, и, кроме того, отношения международные не таковы, чтобы можно было принять их».

«Разоружение, потребованное одним народом от другого, равнялось бы объявлению войны».

«Однако все-таки можно допустить, что обмен взглядов между заинтересованными народами поможет в известной степени международному соглашению и сделает возможным значительное уменьшение военных расходов, давящих теперь европейские народы в ущерб разрешению социальных вопросов, необходимость которого чувствуется каждым государством отдельно под угрозой вызвать внутреннюю войну усилиями предотвратить внешнюю».

«Можно по крайней мере предположить уменьшение огромных расходов, которые нужны при теперешнем военном устройстве, имеющем целью возможность в 24 часа захватить владения противника и дать решительное сражение через неделю после объявления войны!»

Надобно сделать так, чтобы государства не могли нападать друг на другие и в 24 часа захватить чужие владения.

Практическую мысль эту выразил Maxime du Camp, и к этому сводится и заключение статьи.

Предложения M. du Camp следующие:

«1) Дипломатический конгресс должен собираться ежегодно». «2) Всякая война не может быть объявлена ранее двух месяцев после события, которое ее вызовет. (Затруднение тут будет в том, чтобы определять, какой именно incident вызовет войну, так как при всяком объявлении войны таких incidents очень много и надо решить, от какого считать два

месяца.)»

«3) Война не может быть объявлена прежде, чем она не будет подвергнута голосованию народов, готовящихся к ней».

«4) Военные действия не могут начаться ранее месяца после объявления войны».

«Не может быть начата война... должны... и т. д.». Да кто же сделает то, чтобы не могла быть начата война? Кто сделает то, чтобы должны были люди делать то-то и то-то? Кто заставит державу дожидаться назначения срока? Все другие. Но все другие суть точно такие же державы, которых надо умерять и поставлять в границы и заставить. Кто же будет заставлять? и как? Общественное мнение. Да если есть общественное мнение, которое может заставить державу дожидаться назначенного срока, то то же общественное мнение может заставить державу и вовсе не начинать войны.

Но, отвечают на это, возможно такое уравнивание сил, *ponderation des forces*, при котором державы будут сами себя воздерживать. Да ведь это требование и теперь требуется. Это самое был священный союз, это самое — лига мира и т. п.

Но если все согласятся, отвечают на это. Но если все согласятся, то и войны не будет, и незачем и верховные судилища, и третейский суд, и арбитрация.

«Третейский суд, арбитрация заменит войны. Вопросы будут решаться третейским судом, алабамский вопрос решен третейским судом, о Каролинских островах предложено решить третейским судом папе. Швейцария, и Бельгия, и Дания, и Голландия — все подали заявление, что они предпочитают решения третейского суда войне». Кажется, и Монако заявило то же желание. Досадно только одно, что Германия, Россия, Австрия, Франция до сих пор не заявляют того же».

Удивительно, чем могут себя обманывать люди, когда им нужно обмануть себя.

Правительства согласятся решать свои несогласия третейским судом и потому распустят войска. Недоразумения России и Польши, Англии и Ирландии, Австрии и Чехии, Турции и славян, недоразумения между Францией и Германией разрешатся добровольным согласием.

Ведь это всё равно, как если бы предложить купцам и банкирам ничего не продавать дороже цены покупки, а заниматься распределением богатств без барышей и уничтожить вследствие этого ставшие ненужными деньги.

Но ведь торговля и банковое дело и состоят только в том, чтобы продавать дороже, чем покупать, и потому предложение о том, чтобы не продавать дороже покупной цены и уничтожить деньги, равняется предложению уничтожиться. То же самое и с правительствами. Предложение правительствам не употреблять насилия, а по справедливости решать недоразумения, есть предложение уничтожиться как правительство; а на это-то никакое правительство не может согласиться.

Ученые люди собираются в общества (таких обществ много, более 100), собираются на конгрессы (такие были недавно в Париже и Лондоне, теперь будет в Риме), читают речи, обедают, говорят речи, издают журналы, посвященные этой цели, и во всех доказываются, что напряжение народов, принужденных содержать миллионы войск, дошло до крайних пределов и что это вооружение противоречит всем целям, свойствам, желаниям всех народов, но что если много исписать бумаги и наговорить слов, то можно согласовать всех людей и сделать, чтобы у них не было противоположных интересов, и тогда войны не будет.

Когда я был маленький, меня уверили, что для того, чтобы поймать птицу, надо посыпать ей соли на хвост. Я вышел с солью к птицам, но тотчас же убедился, что если бы я мог посыпать соли на хвост, то мог бы и поймать, и понял, что надо мной смеялись.

То же надо понять и людям, читающим статьи и книги о третейском суде и разоружении.

Если можно посыпать соли на хвост птице, то значит, что она не летает, ее и ловить нечего. Если же у птицы есть крылья и она не хочет быть пойманной, она не даст себе сыпать соли на хвост, потому что свойство птицы летать. Точно так же свойство правительства состоит не в том, чтобы подчиняться, а подчинять себе. И правительство только на столько правительство, на сколько оно может не подчиняться, а подчинять, и потому оно всегда стремится к этому и никогда добровольно не может отказаться от власти, а власть дает ему войско, и потому никогда не откажется от войска и употребления его для войны.

Ошибка зиждется на том, что ученые юристы, обманывая себя и других, утверждают в

своих книгах, что правительство не есть то, что оно есть, — собрание одних людей, насилующих других, а что правительства, как это выходит в науке, суть представители совокупности граждан. Ученые так долго уверяли других в этом, что и сами поверили в это, и им часто серьезно кажется, что справедливость может быть обязательна для правительств. Но история показывает, что от Кесаря и до Наполеона, того и другого, и Бисмарка правительство есть по существу своему всегда сила, нарушающая справедливость, как оно и не может быть иначе. Справедливость не может быть обязательной для человека или людей, которые держат под рукой обманутых и дрессированных для насилия людей — солдат и посредством их управляют другими. И потому не могут правительства согласиться уменьшить количество этих повинующихся им дрессированных людей, которые и составляют всю их силу и значение.

Таково отношение одних ученых к тому противоречию, которое тяготит наш мир, и таковы их средства разрешения его. Скажите этим людям, что вопрос только в личном отношении каждого человека к поставленному перед каждым теперь нравственному религиозному вопросу законности или незаконности участия в общей воинской повинности, и эти ученые только пожмут плечами и даже не удостоят вас ответа или внимания. Разрешение вопроса для них в том, чтобы читать речи, писать книги, избирать президентов, вице-президентов, секретарей и заседать и говорить то в том городе, то в другом. От этих разговоров и писаний, по их мнению, случится то, что правительства перестанут набирать солдат, на которых зиждется вся их сила, а послушаются их речей и отпустят своих солдат, останутся беззащитными не только перед своими соседями, но и перед своими подданными; как разбойники, связавшие безоружных людей, чтобы ограбить их, услышав речи о той боли, которую веревка причиняет связанным, тотчас же развяжут их.

Но есть люди, которые верят в это, занимаются конгрессами мира, читают речи, пишут книжки, и правительства, разумеется, выражают этому сочувствие, делают вид, что поддерживают это, так же, как они делают вид, что они поддерживают общества трезвости, тогда как большею частью живут пьянством народа; так же, как делают вид, что поддерживают образование, тогда как сила их держится только на невежестве; так же, как делают вид, что поддерживают свободу конституции, тогда как их сила держится только на отсутствии свободы; делают вид, что заботятся об улучшении быта рабочих, тогда как на подавленности рабочего основано их существование; делают вид, что поддерживают христианство, тогда как христианство разрушает всякое правительство.

Для того, чтобы можно было это делать, уже давно выработались такие заботы о трезвости, которые не могут нарушить пьянства; такие заботы об образовании, которые не только не мешают невежеству, но только усиливают его; такие заботы о свободе и конституции, которые не мешают деспотизму; такие заботы о рабочих, которые не освобождают их от рабства; такое христианство, которое не разрушает, а поддерживает правительства.

Теперь прибавилась еще забота о мире. Правительства прямо цари, которые разъезжают теперь с министрами, решая по одной своей воле вопросы о том: в нынешнем или будущем году начать убийство миллионов; цари эти очень хорошо знают, что разговоры о мире не помешают им, когда им вздумается, послать миллионы на бойню. Цари даже с удовольствием слушают эти разговоры, поощряют их и участвуют в них.

Всё это не только не вредно, но полезно правительствам, отводя глаза людей от самого главного, самого существенного вопроса: идти или не идти отбывать воинскую повинность каждому отдельному человеку, призываемому в солдаты?

«Мир скоро вот устроится, благодаря союзам, конгрессам, по книжкам и брошюрам, а пока идите, надевайте мундир и будьте готовы угнетать и мучить самих себя для нашей выгоды», — говорят правительства. И ученые, составители конгрессов и статей вполне согласны на это.

Это одно отношение — самое выгодное для правительств и потому поощряемое всеми умными правительствами.

Другое отношение — это отношение трагическое, людей, утверждающих, что противоречие стремления и любви к миру людей и необходимости войны ужасно, но что такова судьба человека. Люди эти большею частью чуткие, даровитые люди, видят и понимают весь ужас и всю неразумность и жестокость войны, но по какому-то странному повороту мысли не

видят и не ищут никакого выхода из этого положения, а, как бы расчесывая свою рану, любуются отчаянностью положения человечества.

Вот замечательный образец такого отношения к войне замечательного французского писателя (Мопассана). Глядя с своей яхты на ученье и стрельбу французских солдат, ему приходят следующие мысли:

«Война! Стоит подумать об этом слове, и на меня находит какое-то чувство ужаса и одурения, как если бы мне говорили про колдовство, инквизицию, как будто мне говорят про дело далекое, поконченное, отвратительное, уродливое, противоестественное».

«Когда говорят нам про людоедов, мы с гордостью улыбаемся, чувствуя свое превосходство над этими дикарями. Но кто дикари? Кто настоящие дикари? Те ли, которые убивают для того, чтобы съесть побежденных, или те, которые убивают, чтобы убивать, только чтобы убивать?»

«Вот на поляне егеря по команде бегают и стреляют; все они предназначены на смерть, как стадо баранов, которых мясник гонит по пороге. Упадут они где-нибудь на поляне с рассеченной головой или с пробитой пулей грудью. И всё это молодые люди, которые могли бы работать, производить, быть полезными».

«Их отцы старые, бедные их матери, которые в продолжение 20 лет любили, обожали их, как умеют обожать только матери, узнают через шесть месяцев или через год, может быть, что сына, большого сына, воспитанного с таким трудом, с такими расходами, с такой любовью, что сына этого, разорванного ядром, растоптанного конницей, проехавшей через него, бросили в яму, как дохлую собаку. И она спросит: зачем убили дорогого мальчика — ее надежду, гордость, жизнь? Никто не знает. Да, зачем?»

«Война! Драться! Резаться! Убивать людей! Да, в наше время, с нашим просвещением, с нашей наукой, с нашей философией, существует учреждение особых училищ, в которых учат убивать, убивать издалика, с совершенством, убивать много людей сразу, убивать несчастных, жалких людей, ни в чем не виноватых людей, поддерживающих семьи, и убивать их без всякого суда». «И самое удивительное — это то, что народ не поднимается против правительств, — всё равно, в монархии или республике. Самое удивительное то, что всё общество не взбунтуется при одном слове „война“».

«Да, видно, мы всегда будем жить старыми, ужасными обычаями, преступными суевериями, кровожадными понятиями наших предков. Видно, как мы были зверями, так и останемся зверями, руководимыми только инстинктом».

«Едва ли кто-нибудь, кроме Виктора Гюго, мог бы безнаказанно кликнуть клич освобождения и истины».

«Силу уже начинают называть насилием и судить ее, — сказал он. — Война призывается на суд. Просвещение по жалобе рода человеческого ведет судебное дело и представляет обвинительный акт против всех завоевателей и полководцев».

«Люди начинают понимать то, что увеличение преступления не может быть его уменьшением; что если убийство есть преступление, то убийство многих не может быть смягчающим обстоятельством; что если стыдно красть, то захват никак не может быть предметом прославления».

«Провозгласим же эту несомненную истину, обесчестим войну». «Напрасный гнев, — продолжает Мопассан, — негодование поэта. Война уважаема, почитаема теперь более, чем когда-либо. Искусный артист по этой части, гениальный убийца, г-н

фон Мольтке отвечал однажды депутатам общества мира следующими страшными словами: «Война свята и божественного установления, война есть один из священных законов мира, она поддерживает в людях все великие и благородные чувства: честь, бескорыстие, добродетель, храбрость. Только вследствие войны люди не впадают в самый грубый материализм»».

«Собираться стадами в 400 тысяч человек, ходить без отдыха день и ночь, ни о чем не думая, ничего не изучая, ничему не учась, ничего не читая, никому не принося пользы, валяясь в нечистотах, ночуя в грязи, живя как скот, в постоянном одурении, грабя города, сжигая деревни, разоряя народы, потом, встречаясь с такими же скоплениями человеческого мяса, наброситься на него, пролить реки крови, устлать поля размозженными, смешанными с грязью и кровяной землей телами, лишиться рук, ног, с размозженной головой и без всякой пользы для кого бы то ни было издохнуть где-нибудь на меже, в то время как ваши старики родители, ваша жена и ваши дети умирают с голоду — это называется не впадать в самый грубый материализм».

«Военные люди — главное бедствие мира. Мы боремся с природой, с невежеством, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить наше жалкое существование. Ученые посвящают труду всю жизнь для того, чтобы найти средства помочь, облегчить судьбу своих братьев. И, упорно трудясь и делая открытие за открытием, они обогащают ум человеческий, расширяют науку, каждый день дают новые знания, каждый день увеличивая благосостояние, достаток, силу народа».

«И вот наступает война. В шесть месяцев генералы разрушают всё то, что творилось в продолжение 20 лет усилия, терпения, гениальности. И это всё называется не впадать в самый грубый материализм».

«Мы ее видели, войну. Мы видели, как люди сделались опять зверями, как они, как шальные, убивали из удовольствия, из страха, для молодечества, для похвальбы. Мы видели, как, освободившись от понятий закона и права, они расстреливали невинных, застигнутых на дороге и показавшихся подозрительными только потому, что они испугались. Мы видели, как убивали привязанных у дверей хозяев собак, только чтобы попробовать новый револьвер. Мы видели, как расстреливали лежавших в поле коров без всякой надобности, только чтобы пострелять для потехи. И это называется не впадать в самый безобразный материализм».

«Вступить в страну, зарезать человека, который защищает свой дом, потому что он одет в блузу и у него нет на голове военной фуражки; сжигать дома бедняков, которым есть нечего, разбивать, красть мебель, выпивать вино из чужих погребов, насиловать женщин на улицах, сжигать пороху на миллионы франков и оставить после себя разорение, болезни, — это называется не впадать в самый грубый материализм».

«Что же, наконец, они сделали, военные люди, какие их подвиги? Ничего. Что они выдумали? Пушки и ружья. Вот и все».

«Что оставила нам Греция? Книги, мраморы. Оттого ли она велика, что побеждала, или оттого, что произвела? Не нападения персов помешали грекам впасть в самый грубый материализм. Не нападения же варваров на Рим спасли и возродили его! Что, Наполеон I продолжал разве великое умственное движение, начатое философами конца прошлого века?»

«Нет, уж если правительства берут на себя право посылать на смерть народы, то и нет ничего удивительного, что и народы берут на себя иногда право посылать на смерть и свои правительства».

«Они защищаются, и они правы. Никто не имеет права управлять другими. Управлять другими можно только для блага того, кем управляешь. И тот, кто управляет, обязан избегать войны; так же как и капитан корабля — избегать

крушения».

«Когда капитан виноват в крушении своего корабля, его судят и приговаривают, если он окажется виноватым в небрежности и даже в неспособности».

«Отчего же бы не судить и правительство после каждой объявленной войны? Если бы только народ понял это, если бы они судили власти, ведущие их к убийству, если бы они отказывались идти на смерть без надобности, если бы они употребляли данное им оружие против тех, которые им дали его, — если бы это случилось когда-либо, война бы умерла».

«Но это никогда не случится». Автор видит весь ужас войны; видит, что причина ее в том, что правительства, обманывая людей, заставляют их идти убивать и умирать без всякой для них нужды; видит и то, что люди, которые составляют войска, могли бы обратить оружие против правительства и потребовать у них отчета. Но автор думает, что этого никогда не случится и что поэтому выхода из этого положения нет. Он думает, что дело войны ужасно, но что оно неизбежно, что требования правительств того, чтобы люди шли в солдаты, так же неизбежно, как смерть, и что так как правительства всегда будут требовать этого, то всегда и будут войны.

Так пишет даровитый, искренний, одаренный тем проникновением в сущность предмета, которое составляет сущность поэтического дара, писатель. Он выставляет перед нами всю жестокость противоречия сознания людей и деятельности и, не разрешая его, признает как бы то, что это противоречие должно быть и что в нем поэтический трагизм жизни.

Другой, не менее даровитый, писатель (E. Rod) еще ярче описывает жестокость и безумие настоящего положения и точно так же для того, чтобы признать трагизм его, не предлагая и не провидя из этого положения выхода.

«И для чего что-либо делать и затевать? — говорит он. — И разве можно любить людей в теперешние смутные времена, когда завтрашний день одна угроза? Всё, что мы начали, все наши зреющие мысли, все наши предполагаемые дела, всё то хотя малое добро, которое мы можем сделать, — разве всё это не будет снесено готовящейся бурей?»

«Земля дрожит повсюду под ногами, и собирающаяся туча не минует нас».

«Да, если бы страшна была одна революция, которая нас пугает. Так как я не могу придумать общества, более отвратительно устроенного, чем наше, то я не боюсь того нового устройства, которое заменит наше. Если бы мне стало хуже от перемены, я бы утешался тем, что сегодняшние палачи были жертвами вчера. Я бы переносил худшее, ожидая лучшего. Но не эта отдаленная опасность пугает меня, — я вижу другую, более близкую, более жестокую, потому что ей нет никакого оправдания, потому что из нее не может выйти никакого добра. Каждый день люди взвешивают случайности войны на завтра. И каждый день эти случайности становятся неизбежнее».

«Мысль отказывается верить возможности катастрофы, которая представляется на конце века как последствие всего прогресса нашей эры, а надо привыкать верить».

«В продолжение 20 лет все силы знания истощаются на изобретение орудий истребления, и скоро несколько пушечных выстрелов будет достаточно для того, чтобы уничтожить целое войско. Вооружаются не как прежде несколько тысяч бедняков, кровь которых покупали за деньги, но теперь вооружены поголовно целые народы, собирающиеся резать горло друг другу».

«У людей этих сначала крадут их время (забирая их в солдаты) для того, чтобы потом вернее украсть их жизнь. Чтобы приготовить их к резне, разжигают их ненависть, уверяя их, что они ненавидимы. И кроткие, добрые люди попадают на



эту удочку, и вот-вот бросятся с жестокостью диких зверей друг на друга толпы мирных граждан, повинуюсь нелепому приказанию. И всё Бог знает из-за какого-нибудь смешного столкновения на границе или из-за торговых колониальных расчетов».

«И пойдут они, как бараны на бойню, не зная, куда они идут, зная, что они бросают своих жен, что дети их будут голодать, и пойдут они с робостью, но опьяненные звучными словами, которые им будут трубить в уши. И пойдут они беспрекословно, покорные и смиренные, не зная и не понимая того, что они сила, что власть была бы, в их руках, если бы они только захотели, если бы только могли и умели сговориться и установить здравый смысл и братство, вместо диких плутень дипломатов».

«И пойдут они до такой степени обманутые, что будут верить, что резня, убийство людей есть обязанность, и будут просить Бога, чтобы он благословил их кровожадные желания. И пойдут, топча поля, которые сами они засевали, сжигая города, которые они сами строили, пойдут с криками восторга, с радостью, с праздничной музыкой. А сыновья будут воздвигать памятники тем, которые лучше всех других убивали их отцов».

«Судьба целого поколения зависит от того часа, в который какой-нибудь мрачный политик даст тот знак, по которому они бросятся друг на друга».

«Все мы знаем, что лучшие из нас будут подкошены и что дела наши будут разрушены в зародыше».

«Мы знаем это, содрогаемся от злости и ничего не можем. Мы пойманы в сеть разных присутственных мест и бумаг с заголовками, разорвать которую слишком трудно».

«Мы во власти тех законов, которые мы сами понаделали, чтобы защитить себя, и которые угнетают нас».

«Мы перестали быть людьми и сделались вещами — собственностью вымышленного чего-то, что мы называем государством, которое порабощает каждого во имя воли всех, тогда как все, взятые отдельно, хотят как раз противное тому, что их заставляют делать...»

«И хорошо, если бы дело шло только об одном поколении. Но дело гораздо важнее. Все эти крикуны на жалованье, все честолюбцы, пользующиеся дурными страстями толпы, все нищие духом, обманутые звучностью слов, так разожгли народные ненависти, что дело завтрашней войны решит судьбу целого народа. Побежденный должен будет исчезнуть, и образуется новая Европа на основах столь грубых, кровожадных и опозоренных такими преступлениями, что она и не может не быть еще хуже, еще злее, еще диче и насильственнее».

«Так и чувствуешь, что над каждым висит ужасная безнадежность. Мы мечемся в тупом переулке с направленными на нас ружьями со всех сторон. Мы работаем, как матросы на корабле, который тонет. Наше удовольствие — это удовольствие приговоренного к смерти, которому дают выбрать для себя любое кушанье за четверть часа до казни. Ужас притупляет нам мысль, и высшее ее проявление в том, чтобы рассчитать, соображая неясные речи министров, слова, сказанные царем, выворачивая изречения дипломатов, которыми наполняют газеты, рассчитать, когда это именно — нынешний или на будущий год нас будут резать».

«Едва ли можно найти в истории время, в которое жизнь была бы менее обеспечена и более полна тягостного ужаса».

Указано на то, что сила в руках тех, которые сами губят себя, в руках отдельных людей, составляющих массы; указано на то, что источник зла в государстве. Казалось бы, ясно то, что противоречие сознания и жизни дошло до того предела, дальше которого идти нельзя и после которого должно наступить разрешение его.

Но автор думает не так. Он видит в этом трагизм жизни человеческой и, показав весь ужас положения, заключает тем, что в этом ужасе и должна происходить жизнь человеческая.

Таково второе отношение к войне людей, признающих в ней нечто роковое и трагичное.

Третье отношение есть отношение людей, потерявших совесть, и потому и здравый смысл и человеческое чувство.

К таким людям принадлежит Мольтке, суждение которого выписано Мопассаном, и большинство военных, воспитанных в этом жестоком суеверии, живущих им и потому часто наивно убежденных, что война есть не только неизбежное, но и необходимое, даже полезное дело. Так судят вместе с тем и невоенные, так, называемые ученые, образованные, утонченные люди.

Вот что пишет... знаменитый академик Дусэ на вопрос редактора о его взгляде на войну:

«Милостивый государь!» «Когда вы спрашиваете у самого миролюбивого из академиков, сторонник ли он войны, его ответ уже заранее готов: к несчастью, м. г., вы и сами считаете мечтой миролюбивые мысли, вдохновляющие в настоящее время наших великодушных соотечественников.

«С тех пор, как я живу на свете, мне часто приходится слышать от многих частных людей возмущение против этой ужасающей привычки международного убийства. Все признают и оплакивают это зло; но как ему помочь? Очень часто пытались уничтожить дуэли: это казалось так легко! Так нет же! Все усилия, сделанные для достижения этой цели, ни к чему не послужили и никогда ни к чему не послужат».

«Сколько бы ни говорилось против войны и против дуэли на всех конгрессах мира, надо всеми арбитражами, всеми договорами, всеми законодательствами вечно будет стоять честь человека, которая вечно требовала дуэли, и выгоды народов, которые вечно будут требовать войны».

«Я тем не менее от всего сердца надеюсь, что конгресс всенародного мира успеет в своей весьма тяжелой и весьма почтенной задаче».

«Примите уверение и т. д.

*К. Дусэ»*

Смысл тот, что честь людей требует того, чтобы они дрались, а выгоды народов — того, чтобы они разоряли и истребляли друг друга, попытки же прекращения войн достойны только улыбки.

В том же роде мнение и другого знаменитого человека, Жюля Кларети: «Милостивый государь, — пишет он, — для человека разумного может существовать лишь одно мнение по вопросу о мире и войне».

«Человечество создано для того, чтобы жить и жить со свободой усовершенствования и улучшения своей судьбы, своего состояния путем мирного труда. Всеобщее согласие, которого добивается и которое проповедует всемирный конгресс мира, представляет из себя, быть может, только прекрасную мечту, но во всяком случае мечту, самую прекрасную из всех. Человек всегда имеет перед глазами обетованную землю будущего, жатва будет поспевать, не опасаясь вреда от гранат и пушечных колес».

«Только... Да-только!.. Так как миром не управляют философы и благодетели, то счастье, что наши солдаты оберегают наши границы и наши очаги и что их оружия,

верно нацеленные, являются нам, быть может, самым лучшим ручательством этого мира, столь горячо нами всеми любимого».

«Мир даруется лишь сильным и решительным».

«Примите уверение и т. д.

*Ж. Кларети*»

Смысл тот, что разговаривать не мешает о том самом, чего никто не намерен и чего никак не должно делать. Но когда дело доходит до дела, то нужно драться.

А вот еще самое недавнее выражение мнения о значении войны, высказанное самым популярным романистом Европы — Э. Золя:

«Я считаю войну роковой необходимостью, которая является для нас неизбежною ввиду ее тесной связи с человеческой природой и всем мирозданием. Мне бы хотелось, чтобы войну можно было отдалить, на возможно долгое время. Тем не менее наступит момент, когда мы будем вынуждены воевать. Я становлюсь в данную минуту на общечеловеческую точку зрения и не делаю никоим образом намека на наш разлад с Германией, являющийся лишь ничтожным инцидентом в истории человечества. Я говорю, что война необходима и полезна, так как она является для человечества одним из условий существования. Мы всюду встречаем войну, не только между различными племенами и народами, но также в семейной и частной жизни. Она является одним из главнейших элементов прогресса, и каждый шаг вперед, который делало до сих пор человечество, сопровождался кровопролитием».

«Говорили и до сих пор еще говорят о разоружении, между тем разоружение нечто невозможное, и если бы даже оно было возможно, то и в том случае мы должны были бы его отвергнуть. Только вооруженный народ является могучим и великим. Я убежден, что общее всемирное разоружение повлекло бы за собой нечто вроде нравственного упадка, который высказался бы общим бессилием и воспрепятствовал бы прогрессивному преуспеянию человечества. Воинственная нация всегда пользовалась цветущими силами. Военное искусство влекло за собою развитие всех других искусств. Об этом свидетельствует история. Так, в Афинах и в Риме торговля, промышленность и литература никогда не достигали такого развития, как в то время, когда эти города господствовали над известным тогда миром силою оружия. Чтобы взять пример из более близких нам времен, вспомним век Людовика XIV. Войны великого короля не только не задержали прогресса искусств и наук, но даже, напротив того, как будто помогали и благоприятствовали их преуспеянию».

Война дело полезное! Но лучше всего в этом смысле мнение самого даровитого из писателей этого настроения, мнение академика Вогюэ. Вот что он пишет в статье о выставке при посещении военного отдела:

«На эспланаде Инвалидов среди экзотических и колониальных помещений одно строение более строгого стиля выдается из живописного базара; все эти представители жителей земного шара примыкают к дворцу войны. Великолепный повод антитезы для гуманитарной риторики; она и не упускает случая плакаться на такие сближения и утверждать, что это убьет то (*ceci tuera cela*)<sup>4</sup>, что единение народов через науку и труд победит военные инстинкты. Не будем ей мешать ласкать надеждой химеру золотого века, который, если бы осуществился, очень скоро сделался бы веком грязи. Вся история учит нас, что то сделано этим, что нужна кровь, чтобы ускорить и закрепить единение народов. Естественные науки в наше время скрепили таинственный закон, открывшийся Жозефу де Мэстру вдохновением его гения и обдумыванием первобытных догматов; он видел, как мир искупляет свои наследственные падения жертвою; науки показывают нам, как мир совершенствуется

4 Слова из романа Виктора Гюго «Notre-Dame» о книгопечатании, которое убьет архитектуру.

борьбой и насильственным подбором; это утверждение с двух сторон одного и того же декрета, отредактированного в различных выражениях. Утверждение, конечно, неприятное; но законы мира установлены не для нашего удовольствия, они установлены для нашего совершенствования. Взойдем же в этот неизбежный, необходимый дворец войны, и мы будем иметь случай наблюдать, каким образом самый упорный из наших инстинктов, не теряя ничего из своей силы, преобразовывается, подчиняясь различным требованиям исторических моментов».

Мысль эта именно о том, что доказательство необходимости войны находится в двух выражениях, по его мнению, двух великих мыслителей — Мэстра и Дарвина, так нравится Воюэ, что он еще раз повторяет ее.

«Милостивый государь, вы спрашиваете моего мнения насчет успеха всемирного конгресса мира. Я верю так же, как и Дарвин, что насильственная борьба есть закон природы, управляющий всеми существами».

«Так же как и Иосиф Мэстр, я верю, что это закон божественный: два различных названия для одной и той же вещи. Если бы, паче чаяния, какой-нибудь частице человечества, положим хоть всему цивилизованному Западу, удалось остановить действие этого закона, то другие народы, более первобытные, применили бы его против нас. В этих народах голос природы взял бы верх над голосом человеческого разума. И они бы действовали успешно, так как уверенность в мире, я не говорю сам „мир“, а „полная уверенность в мире“, вызвала бы в людях развращенность и упадок, более разрушительно действующие, чем самая страшная война. Я нахожу, что для войны, этого уголовного закона, нужно делать то же, что и для остальных уголовных законов: смягчить их, стараться, чтобы они оказались ненужными, и применять их как можно реже. Но вся история учит нас тому, что нельзя упразднить этих законов до тех пор, пока останется на земле двое людей, хлеб, деньги и между ними женщина».

«Я был бы очень счастлив, если бы конгресс мне доказал противное. Но сомневаюсь, чтобы он мог опровергнуть историю, закон природы и закон Бога».

«Примите уверение и т. д.

*Э. М. Воюэ»*

Смысл тот, что история, природа человека и Бог показывают нам, что, пока будут два человека и между ними хлеб, деньги и женщина, — будет война. То есть, что никакой прогресс не приведет людей к тому, чтобы они сдвинулись с дикого понимания жизни, при котором без драки невозможно разделить хлеб, деньги (очень хороши тут деньги) и женщину.

Странны люди, собирающиеся в конгрессы, говорящие речи о том, как ловить птиц, посыпая им соли на хвост, хотя они не могут не знать, что этого нельзя делать; удивительны те, которые, как Мопассан, Род и мн. др., ясно видят весь ужас войны, всё противоречие, вытекающее из того, что люди делают не то, что им нужно, выгодно и должно делать, оплакивают при этом трагизм жизни и не видят того, что весь трагизм этот прекратится тотчас же, как только люди перестанут рассуждать о том, о чем им не нужно рассуждать, начнут не делать того, что им больно, неприятно и противно делать. Эти люди удивительны, но люди, которые, как Воюэ и др., исповедуя закон эволюции, признают войну не только неизбежной, но полезной и потому желательной, — эти люди страшны, ужасны своей нравственной извращенностью. Те хоть говорят, что ненавидят зло и любят добро, но эти прямо признают то, что добра и зла нет.

Все толки о возможности установить мир вместо вечной войны — вредное сантиментальничанье болтунов. Есть закон эволюции, по которому выходит, что я должен жить и действовать дурно. Что же делать? Я образованный человек и знаю закон эволюции и потому буду поступать дурно. «En trons au palais de la guerre» (Войдем же во дворец войны). Есть закон эволюции, и потому нет ничего ни дурного, ни хорошего, а надо жить для одной своей личной жизни, предоставляя остальное делать закону эволюции. Это есть последнее выражение

утонченного образования и вместе с тем того затемнения сознания, которым заняты образованные классы нашего времени.

Желание образованных классов как-нибудь удержать свои излюбленные идеи и основанную на них жизнь дошло до последних пределов. Они лгут, обманывают себя и других в самых утонченных формах, только чтобы как-нибудь затемнить, заглушить сознание.

Вместо того чтобы изменить жизнь соответственно сознанию, они стараются всеми средствами затемнить, заглушить сознание. Но свет и в темноте светит, и так он начинает светить в наше время.

## VII

Образованные люди высших классов стараются заглушать всё более и более выясняющееся сознание необходимости изменения настоящего строя жизни, но жизнь, продолжая развиваться и усложняться в прежнем направлении, усиливая противоречия и страдания людей, приводит их к тому последнему пределу, дальше которого идти нельзя. Такой последний предел противоречия, дальше которого идти нельзя, есть общая воинская повинность.

Обыкновенно думают, что всеобщая воинская повинность и связанные с нею всё увеличивающиеся вооружения и вследствие того все увеличивающиеся подати и государственные долги во всех народах есть явление случайное, возникшее от некоторого политического положения Европы, и может быть устранено тоже некоторыми политическими соображениями, без изменения внутреннего строя жизни.

Это совершенно несправедливо. Общая воинская повинность есть только доведенное до своих последних пределов и ставшее очевидным, при известной степени материального развития, внутреннее противоречие, вкравшееся в общественное жизнепонимание.

Общественное жизнепонимание ведь состоит в том, что смысл жизни переносится из личности в совокупность и последовательность их — в племя, в семью, род или государство.

По общественному жизнепониманию предполагается, что, так как смысл жизни заключается в совокупности личностей, то личности сами добровольно жертвуют своими интересами для интересов совокупности. Так это и было и есть в действительности при известных формах совокупностей, в семье или племени, безразлично от того, что чему предшествовало, или в роде и даже в патриархальном государстве. Вследствие обычая, передаваемого воспитанием и подтверждаемого религиозным внушением, личности без принуждения сливали свои интересы с интересами совокупности и жертвовали своими для общего.

Но чем сложнее становились общества, чем больше они становились, в особенности чем чаще завоевание было причиной соединения людей в обществе, тем чаще личности стремились к достижению своих целей в ущерб общему и тем чаще для ограничения этих непокоряющихся личностей понадобилось употребление власти, т. е. насилия.

Защитники общественного жизнепонимания обыкновенно стараются смешать понятие власти, т. е. насилия, с понятием духовного влияния, но смешение это совершенно невозможно.

Влияние духовное есть такое воздействие на человека, вследствие которого изменяются самые желания человека и совпадают с тем, что от него требуют. Человек, подчиняющийся влиянию духовному, действует соответственно своим желаниям. Власть же, как обыкновенно понимают это слово, есть средство принуждения человека поступать противно своим желаниям. Человек, подчиняющийся власти, действует не так, как он хочет, а так, как его заставляет действовать власть. Заставить же человека делать не то, что он хочет, а то, чего он не хочет, может только физическое насилие или угроза им, т. е. лишение свободы, побои, увечья или легко исполнимые угрозы совершения этих действий. В этом состоит и всегда состояла власть.

Несмотря на непрерывающиеся усилия находящихся во власти людей скрыть это и придать власти другое значение, власть есть приложение к человеку веревки, цепи, которой его свяжут и потащат, или кнута, которым его будут сечь, или ножа, топора, которым ему отрубят руки, ноги, нос, уши, голову, приложение этих средств или угроза ими. И так это было при Нероне и Чингисхане и так это и теперь, при самом либеральном правлении, в американской и

французской республике. Если люди подчиняются власти, то только потому, что они боятся того, что, в случае неподчинения их, к ним будут приложены эти действия. Все правительственные требования уплаты податей, исполнения общественных дел, подчинения себя накладываемым наказаниям, изгнания, штрафы и т.п., которым люди как будто подчиняются добровольно, в основе всегда имеют телесное насилие или угрозу его.

Основа власти есть телесное насилие. Возможность же совершать над людьми телесное насилие прежде всего дает организация вооруженных людей такая, при которой все вооруженные люди действуют согласно, подчиняясь одной воле. Такие собрания вооруженных людей, подчиняющихся одной воле, составляют войско. Войско всегда и стояло и теперь стоит в основе власти. Всегда власть находится в руках тех, кто повелевает войском, и всегда все властители — от римских кесарей до русских и немецких императоров — озабочены более всего войском, заискивают только в войске, зная, что если войско с ними, то власть в их руках.

Вот это-то образование и увеличение войска, необходимого для поддержания власти, и внесло в общественное жизнепонимание разлагающее его начало.

Цель власти и оправдание ее состоит в ограничении тех людей, которые захотели бы достигать своих интересов в ущерб интересам совокупности. Но приобреталась ли власть образованием нового войска, наследством или выбором, люди, посредством войска имеющие власть, ничем не отличались от других людей и потому точно так же, как и другие люди, были склонны не подчинять свои интересы интересам совокупности, а, напротив, имея в своих руках возможность это делать, были более склонны, чем все другие, подчинять общие интересы своим. Сколько ни придумывали люди средств для того, чтобы лишить людей, стоящих у власти, возможности подчинять общие интересы своим, или для того, чтобы передавать власть только людям непогрешимым, до сих пор не найдено средств для достижения ни того, ни другого.

Все употребляемые приемы, и Божеского благословения, и выбора, и наследственности, и голосований, и выборов, и собраний, и парламентов, и сенатов — все эти меры оказывались и оказываются недействительными. Все знают, что ни один из этих приемов не достигает ни цели вручения власти только непогрешимым людям, ни препятствования злоупотреблениям ее. Все знают, что, напротив, люди, находящиеся у власти — будь они императоры, министры, полицеймейстеры, городовые, — всегда, вследствие того что они имеют власть, делаются более склонными к безнравственности, т. е. подчинению общих интересов личным, чем люди, не имеющие власти, как это и не может быть иначе.

Общественное жизнепонимание оправдывалось только до тех пор, пока все люди добровольно жертвовали своими интересами интересам общего; но как скоро явились люди, добровольно не жертвовавшие своими интересами, и понадобилась власть, т. е. насилие для ограничения этих личностей, так в общественное жизнепонимание и основанное на нем устройство вошло разлагающее его начало власти, т. е. насилие одних людей над другими.

Для того, чтобы власть одних людей над другими достигала своей цели ограничения людей, стремившихся к личным целям в ущерб общего, нужно было, чтобы власть находилась в руках людей непогрешимых, как это предполагается у китайцев или как это предполагалось в Средние века и теперь для людей, верующих в святость помазания. Только при этом условии получало свое оправдание общественное устройство.

Но так как этого нет, а, напротив, люди, имеющие власть, именно вследствие обладания властью всегда не святы, то общественное устройство, основанное на власти, не могло уже иметь оправдания.

Если и было время, что при известном низком уровне нравственности и при всеобщем расположении людей к насилию друг над другом существование власти, ограничивающей эти насилия, было выгодно, т. е. что насилие государственное было меньше насилия личностей друг над другом, то нельзя не видеть того, что такое преимущество государственности над отсутствием ее не могло быть постоянно. Чем более уменьшалось стремление к насилию личностей, чем более смягчались нравы и чем более развращалась власть вследствие своей неестественности, тем преимущество это становилось все меньше и меньше.

В этом изменении отношения между нравственным развитием масс и развращенностью правительств и состоит вся история последних двух тысячелетий.

В самом простом виде дело происходило так: люди жили племенами, семьями, родами и враждовали, насильовали, разоряли, убивали друг друга. Насилия эти происходили в малых и больших размерах: личность боролась с личностью, племя с племенем, семья с семьей, род с родом, народ с народом. Большие, сильнейшие совокупности завладевали слабейшими, и чем больше и сильнее становилась совокупность людей, тем меньше происходило в ней внутренних насилий и тем обеспеченнее казалась продолжительность жизни совокупности.

Члены племени или семьи, соединяясь в одну совокупность, менее враждуют между собой, и племя и семья не умирают, как один человек, а продолжают свое существование: между членами одного государства, подчиненными одной власти, борьба кажется еще слабее, и жизнь государства кажется еще обеспеченнее.

Соединения эти всё в большие и большие совокупности происходили не потому, чтобы люди сознательно признавали такие соединения более для себя выгодными, как это описывается в басне о призвании варягов, а вследствие, с одной стороны, естественного роста, с другой — борьбы и завоеваний.

Когда завоевание уже совершилось, власть завоевателя действительно прекращает междоусобия, и общественное непонимание получает подтверждение. Но подтверждение это только временное. Внутренние междоусобия прекращаются только в той мере, в которой увеличивается давление власти над прежде враждовавшими между собой личностями. Насилие внутренней борьбы, уничтожаемое властью, зарождается в самой власти. Власть находится в руках людей таких же, как все, т. е. таких, которые всегда или часто готовы пожертвовать общим благом для своего личного, с тою только разницею, что люди эти не имеют умеряющей их силы противодействия насилуемых и подвержены всему развращающему влиянию власти. И потому зло насилия, переходя в руки власти, всегда увеличивается и увеличивается и становится со временем больше, чем то, которое предполагается, что оно уничтожает, между тем как в членах общества склонность к насилию всё более и более ослабевает и насилие власти становится всё менее и менее нужным.

Государственная власть, если она и уничтожает внутренние насилия, вносит всегда в жизнь людей новые насилия и всегда всё большие и большие, по мере своей продолжительности и усиления.

Так что хотя в государстве насилие власти и менее заметно, чем насилие членов общества друг над другом, так как оно выражается не борьбой, а покорностью, но насилие тем не менее существует и большей частью в сильнейшей степени, чем прежде. И это не может быть иначе, потому что, кроме того, что обладание властью развращает людей, расчет или даже бессознательное стремление насилующих всегда будет состоять в том, чтобы довести насилуемых до наибольшего ослабления, так как чем слабее будет насилуемый, тем меньше потребуется усилий для подавления его.

И потому насилие над насилуемым всегда растет до того последнего предела, до которого оно может дойти, не убивая курицу, несущую золотые яйца. Если же курица эта не несется, как американские индейцы, фиджиане, негры, то убиваются, несмотря на искренние протесты филантропов против такого образа действий.

Лучшим подтверждением этого служит положение рабочих классов нашего времени, которые собственно суть не что иное, как покоренные люди.

Несмотря на все притворные старания высших классов облегчить положение рабочих, все рабочие нашего мира подчинены неизменному железному закону, по которому они имеют только столько, сколько им нужно, чтобы быть постоянно побуждаемыми нуждой к работе и быть в силе работать на своих хозяев, т. е. завоевателей.

Так это всегда было. Всегда, по мере продолжительности и усиления власти, терялись ее выгоды для тех, которые подчинялись ей, и увеличивались ее невыгоды.

Так это было и есть, независимо от тех форм правления, в которых жили народы. Разница только в том, что при деспотической форме правления власть сосредоточивается в малом числе насилующих и форма насилия более резкая; при конституционных монархиях и республиках, как во Франции и Америке, власть распределяется между большим количеством насилующих и формы ее выражения менее резки; но дело насилия, при котором невыгоды власти больше выгод ее, и процесс его, доводящий насилуемых до последнего предела ослабления, до которого они

могут быть доведены для выгоды насилующих, всегда одни и те же.

Таково было и есть положение всех насилуемых, но до сих пор они не знали этого и в большинстве случаев наивно верили, что правительства существуют для их блага; что без правительств они погибли бы; что мысль о том, что люди могут жить без правительств, есть кощунство, которое нельзя даже и произносить; что это есть — почему-то страшное — учение анархизма, с которым соединяется представление всяких ужасов.

Люди верили, как чему-то вполне доказанному и потому не требующему доказательств, тому, что, так как до сих пор все народы развивались в государственной форме, то эта форма и навсегда есть необходимое условие развития человечества.

Так это продолжалось сотни, тысячи лет, и правительства, т. е. люди, находящиеся во власти, старались и теперь всё более стараются поддерживать народы в этом заблуждении.

Так это было при римских императорах, так это и теперь. Несмотря на то, что мысль о бесполезности и даже вреде государственного насилия всё больше и больше входит в сознание людей, так это продолжалось бы вечно, если бы правительствам не было необходимости для поддержания своей власти усиливать войска.

Обыкновенно думают, что войска усиливаются правительствами только для обороны государства от других государств, забывая то, что войска нужны прежде всего правительствам для обороны себя от своих подавленных и приведенных в рабство подданных.

Это нужно было всегда и всё становилось нужнее и нужнее по мере развивающегося образования в народах, по мере усиления общения между людьми одной и разных национальностей и стало особенно необходимо теперь, при коммунистическом, социалистическом, анархистическом и общем рабочем движении. И правительства чувствуют это и увеличивают свою главную силу дисциплинированного войска<sup>5</sup>.

Недавно в германском рейхстаге, отвечая на запрос о том, почему нужны деньги для прибавления жалованья унтер-офицерам, германский канцлер прямо объявил, что нужны надежные унтер-офицеры для того, чтобы бороться против социализма. Каприви сказал во всеуслышание только то, что всякий знает, хотя это и старательно скрывается от народов; он сказал то, почему нанимались гвардии швейцарцев и шотландцев к французским королям и папам, почему в России старательно перетасовывают рекрут так, чтобы полки, стоящие в центрах, комплектовались рекрутами с окраин, а полки на окраинах — людьми из центра России. Смысл речи Киприви, переведенной на простой язык, тот, что деньги нужны не для противодействия внешним врагам, а для подкупа унтер-офицеров, с тем чтобы они были готовы действовать против подавленного рабочего народа.

Каприви нечаянно сказал то, что каждый очень хорошо знает, а если не знает, то чувствует, а именно то, что существующий строй жизни таков, какой он есть, не потому, что он естественно должен быть таким, что народ хочет, чтобы он был таков, но потому, что его таким поддерживает насилие правительств, войско со своими подкупленными унтер-офицерами и генералами.

Если у рабочего человека нет земли, нет возможности пользоваться самым естественным правом каждого человека извлекать из земли для себя и своей семьи средства пропитания, то это не потому, что этого хочет народ, а потому, что некоторым людям, землевладельцам, предоставлено право допускать и не допускать к этому рабочих людей. И такой противоестественный порядок поддерживается войском. Если огромные богатства, накопленные рабочими, считаются принадлежащими не всем, а исключительным лицам; если власть собирать подати с труда и употреблять эти деньги, на что они это найдут нужным, предоставлена некоторым людям; если стачкам рабочих противодействуется, а стачки

<sup>5</sup> То, что в Америке злоупотребления власти существуют, несмотря на малое количество войска, не только не опровергает, но только поддерживает это положение. В Америке меньше войска, чем в других государствах, и потому нигде нет меньшего угнетения подавленных классов и нигде не предвидится так близко уничтожение злоупотреблений правительства и самого правительства. В Америке же в последнее время, по мере усиления единения между рабочими, слышатся всё чаще и чаще голоса, требующие увеличения войска, хотя никакое внешнее нападение не угрожает Америке. Высшие правящие классы знают, что 50 тысяч войска скоро будет недостаточно, и, не надеясь уже на армию Пинкертонна, чувствуют, что обеспечение их положения только в усилении войска.



капиталистов поощряются, если некоторым людям предоставляется избирать способ религиозного и гражданского обучения и воспитания детей; если некоторым лицам предоставлено право составлять законы, которым все должны подчиняться, и распоряжаться имуществом и жизнью людей, — то все это происходит не потому, что народ этого хочет и что так естественно должно быть, а потому, что этого для своих выгод хотят правительства и правящие классы и посредством физического насилия над телами людей устанавливают это.

Каждый, если еще не знает того, то узнает при всякой попытке неподчинения или изменения такого порядка вещей. И потому войска прежде всего нужны всякому правительству и правящим классам для того, чтобы поддержать тот порядок вещей, который не только не вытекает из потребности народа, но часто прямо противоположен ему и выгоден только правительству и правящим классам.

Войска нужны всякому правительству прежде всего для содержания в покорности своих подданных и для пользования их трудами. Но правительство не одно: рядом с ним другое правительство, точно так же насилием пользующееся своими подданными и всегда готовое отнять у другого правительства труды его уже приведенных в рабство подданных. И потому каждое правительство нуждается в войске не только для внутреннего употребления, но и для ограждения своей добычи от соседних хищников. Каждое государство вследствие этого невольно приведено к необходимости друг перед другом увеличивать войска. Увеличение же войск заразительно, как это еще 150 лет тому назад заметил Монтескье.

Всякое увеличение войска в одном государстве, направленное «против своих подданных, становится опасным для соседа и вызывает увеличение и в соседних государствах.

Войска доросли до тех миллионов, до которых они доросли теперь, не только оттого, что государствам угрожали соседи; это произошло прежде всего оттого, что надо подавлять все попытки возмущения подданных. Увеличение войск происходило одновременно от двух причин, вызывающих одна другую: войска нужны и против своих внутренних врагов и для того, чтобы отстаивать свое положение против соседей. Одно обуславливает другое. Деспотизм правительства всегда увеличивается по мере увеличения и усиления войск и успехов внешних, и агрессивность правительств увеличивается по мере усиления внутреннего деспотизма.

Вследствие этого-то европейские правительства одно перед другим, всё усиливая и усиливая войска, пришли к неизбежной необходимости — общей воинской повинности, так как общая воинская повинность была средством получить наибольшее количество войска во время войны при наименьших расходах. Германия первая догадалась сделать это. И как скоро это сделало одно государство, другие должны были сделать то же. А как скоро это сделалось, сделалось то, что все граждане стали под ружье для того, чтобы поддерживать все те несправедливости, которые против них производились; сделалось то, что все граждане стали угнетателями самих себя.

Общая воинская повинность была неизбежная логическая необходимость, к которой нельзя было не прийти, но вместе с тем она же есть последнее выражение внутреннего противоречия общественного непонимания, возникшего тогда, когда для поддержания его понадобилось насилие. В общей воинской повинности противоречие это стало очевидным. В самом деле: ведь смысл общественного непонимания состоит в том, что человек, сознавая жестокость борьбы личностей между собою и погибельность самой личности, переносит смысл своей жизни в совокупности личностей. При общей же воинской повинности выходит то, что люди, принеся все требуемые от них жертвы для того, чтобы избавиться от жестокости борьбы и от непрочности жизни, после всех принесенных жертв призываются опять ко всем тем опасностям, от которых они думали избавиться, и кроме того та совокупность — государство, во имя которой личности отреклись от своих выгод, подвергается опять такой же опасности уничтожения, какой прежде подвергалась сама личность.

Правительства должны были избавить людей от жестокости борьбы личностей и дать им уверенность в ненарушимости порядка жизни государственной, а вместо этого они накладывают на личность необходимость той же борьбы, только отодвинув ее от борьбы с ближайшими личностями к борьбе с личностями других государств, и оставляют ту же опасность уничтожения и личности и государства.

Учреждение общей воинской повинности подобно тому, что случилось бы с человеком,

подпирающим заваливающийся дом: стены нагнулись внутрь — поставили подпорки; потолок погнулся — поставили другие; между подпорками провисли доски — еще поставили подпорки. Дошло дело до того, что подпорки хотя и держат дом, но жить в доме от подпорок уже нельзя.

То же с общей воинской повинностью. Общая воинская повинность разрушает все те выгоды общественной жизни, которые она призвана хранить.

Выгоды общественной жизни состоят в обеспечении собственности, труда и содействии совокупному усовершенствованию жизни — общая воинская повинность уничтожает всё это.

Подати, собираемые с народа для приготовления к войне, поглощают большую долю произведений труда, которые должно охранять войско.

Отрывание всех мужчин от обычного течения жизни нарушает возможность самого труда.

Угрозы войны, готовой всякую минуту разразиться, делают бесполезными и тщетными все усовершенствования общественной жизни.

Если прежде человеку говорили, что он без подчинения власти государства будет подвержен нападениям злых людей, внутренних и внешних врагов, будет вынужден сам бороться с ними, подвергаться убийству, что поэтому ему выгодно нести некоторые лишения для избавления себя от этих бед, что человек мог верить этому, так как жертвы, которые он приносил государству, были только жертвы частные и давали ему надежду на спокойную жизнь в неуничтожающемся государстве, во имя которого он принес свои жертвы. Но теперь, когда жертвы эти не только возросли в десять раз, а обещанные ему выгоды отсутствуют, естественно каждому подумать, что подчинение его власти совершенно бесполезно.

Но не в этом одном роковое значение общей воинской повинности как проявления того противоречия, которое заключается в общественном непонимании. Главное проявление этого противоречия заключается в том, что при общей воинской повинности всякий гражданин, делаясь солдатом, становится поддерживателем государственного устройства и участником всего того, что делает государство и законность чего он не признает.

Правительства утверждают, что войска нужны преимущественно для внешней обороны, но это несправедливо. Они нужны прежде всего против своих подданных, и всякий человек, отбывающий воинскую повинность, невольно становится участником всего насилия государства над своими подданными.

Для того, чтобы убедиться в том, что каждый человек, исполняющий воинскую повинность, становится участником таких дел государства, которые он не признает и не может признавать, пусть всякий вспомнит только то, что творится в каждом государстве во имя порядка и блага народов и исполнителем чего всегда является войско. Все междоусобия династические и различных партий, все казни, сопряженные с этими смутами, все подавления восстаний, все употребления военной силы для разогнания скопищ народа, подавления стачек, все вымогательства податей, все несправедливости распределения земельной собственности, все стеснения труда — всё это производится если не прямо войсками, то полицией, поддерживаемой войсками. Отбывающий воинскую повинность становится участником всех этих дел, дел в некоторых случаях сомнительных для него, но во многих случаях прямо противных его совести. Люди не хотят уйти с той земли, которую они обрабатывали поколениями; люди не хотят разойтись, как того требует правительство; люди не хотят платить подати, которые с них требуют; люди не хотят признать для себя обязанности законов, которые не они делали; люди не хотят лишиться своей национальности, — и я, исполняя воинскую повинность, должен прийти и бить этих людей. Не могу я, будучи участником этих дел, не спросить себя, хороши ли эти дела? И следует ли мне содействовать исполнению их?

Общая воинская повинность есть для правительств последняя степень насилия, необходимая для поддержания всего здания; для подданных же она есть последний предел возможности повиновения. Это есть тот камень замка в своде, который держит стены и извлечение которого рушит всё здание.

Пришло время, когда всё усиливающиеся и усиливающиеся злоупотребления правительств и борьба их между собой сделали то, что от каждого подданного потребовались такие не только материальные, но и нравственные жертвы, при которых каждому пришлось задуматься и спросить себя, могу ли я принести эти жертвы? И во имя чего должен я приносить эти жертвы? Жертвы эти требуются во имя государства. Во имя государства требуется от меня

отречение от всего, что только может быть дорого человеку: от спокойствия, семьи, безопасности, человеческого достоинства. Что же такое это государство, для которого требуются такие страшные жертвы? И для чего оно так необходимо нужно?

«Государство, — говорят нам, — необходимо нужно, во-первых, потому, что без государства я и все мы не были бы ограждены от насилия и нападения злых людей; во-вторых, без государства мы бы были дикими и не имели бы ни религиозных, ни образовательных, ни воспитательных, ни торговых, ни путесообщительных, ни других общественных учреждений; и, в-третьих, потому, что без государства мы бы были подвержены порабощению нас соседними народами».

«Без государства, — говорят нам, — мы бы были подвержены насилиям и нападениям злых людей в нашем же отечестве».

Но кто же эти среди нас злые люди, от насилия и нападения которых спасает нас государство и его войско? Если три, четыре века тому назад, когда люди гордились своим военным искусством, вооружением, когда убивать людей считалось доблестью, были такие люди, то ведь теперь таких людей нет, а все люди нашего времени не употребляют и не носят оружия, и все, исповедуя правила человеколюбия, сострадания к ближним, желают того же, что и мы, — только возможности спокойной и мирной жизни. Так что теперь уже нет особенных насильников, от которых государство могло защищать нас. Если же под людьми, от нападения которых спасает нас государство, разуметь тех людей, которые совершают преступления, то мы знаем, что это не суть особенные существа, вроде хищных зверей между овец, а суть такие же люди, как и все мы, и точно так же не любящие совершать преступления, как и те, против которых они их совершают. Мы знаем теперь, что угрозы и наказания не могут уменьшить количества таких людей, а уменьшает его только изменение среды и нравственное воздействие на людей. Так что объяснение необходимости государственного насилия ограждением людей от насильников, если и имело основание три, четыре века тому назад, теперь не имеет никакого. Теперь скорее можно сказать обратное: именно то, что деятельность правительств с своими, отставшими от общего уровня нравственности, жестокими приемами наказаний, тюрьм, каторг, виселиц, гильотин скорее содействует огрубению народов, чем смягчению их, и потому скорее увеличению, чем уменьшению числа насильников.

«Без государства, — говорят еще, — не было бы всех тех учреждений воспитательных, образовательных, религиозных, путесообщительных и других. Без государства люди не умели бы учредить общественных нужных для всех дел». Но этот довод мог иметь основание тоже только несколько веков тому назад.

Если было время, когда люди были так разобщены между собою, так мало были выработаны средства сближения и передачи мыслей, что они не могли сговориться и согласиться ни в каком общем ни торговом, ни экономическом, ни образовательном деле без государственного центра, то теперь уже нет этой разобщенности. Широко развившиеся средства общения и передачи мыслей сделали то, что для образования обществ, собраний, корпораций, конгрессов, ученых, экономических, политических учреждений люди нашего времени не только вполне могут обходиться без правительств, но что правительства в большей части случаев скорее мешают, чем содействуют достижению этих целей.

С конца прошлого столетия едва ли не всякий шаг вперед человечества не только не поощрялся, но всегда задерживался правительством. Так это было с уничтожением телесного наказания, пыток, рабства, с установлением свободы печати и собраний. В наше же время государственная власть и правительства не только не содействуют, но прямо препятствуют всей той деятельности, посредством которой люди вырабатывают себе новые формы жизни. Решения вопросов рабочего, земельного, политического, религиозного не только не поощряются, но прямо задерживаются государственною властью.

«Без государства и правительства народы были бы порабощаемы соседями».

Едва ли нужно еще возражать на этот последний довод. Возражение находится в нем самом.

Правительства, как это говорят нам, необходимы со своими войсками для защиты от могущих поработить нас соседних государств. Но ведь это говорят все правительства друг про друга, и вместе с тем мы знаем, что все европейские народы исповедуют одинаковые принципы

свободы и братства и потому не нуждаются в защите друг от друга. Если же говорить о защите от варваров, то для этого достаточно 0,001 тех войск, которые стоят теперь под ружьем. Так что выходит обратное тому, что говорится: государственная власть не только не спасает от опасности нападения соседей, а напротив, она-то и производит опасность нападения.

Так что для всякого человека, посредством воинской повинности поставленного в необходимость вдуматься в значение государства, во имя которого от него требуется жертва его спокойствия, безопасности и жизни, не может не быть ясным, что для жертв этих нет уже в наше время никакого основания.

Но мало того, что, рассуждая теоретически, всякий человек не может не видеть, что жертвы, требуемые государством, не имеют никакого основания; даже рассуждая практически, т.е. взвешивая все те тяжелые условия, в которые поставлен человек государством, всякий не может не видеть, что для себя лично исполнение требований государства и подчинение себя воинской повинности для него в большинстве случаев невыгоднее, чем отказ от нее.

Если большинство людей предпочитает подчинение неподчинению, то это происходит не вследствие трезвого взвешивания выгод и невыгод, а потому, что к подчинению привлекает людей гипнотизация, которой они при этом подвергаются. Подчиняясь, люди только покоряются тем требованиям, которые к ним предъявляются, не рассуждая и не делая усилия воли; для неподчинения нужно самостоятельное рассуждение и усилие, на которое не каждый бывает способен. Если же, исключив нравственное значение подчинения и неподчинения, сообразовываться только с одними выгодами, то неподчинение в общем всегда будет выгоднее подчинения.

Кто бы я ни был, человек ли, принадлежащий к достаточным, угнетающим классам или к рабочим, угнетенным, и в том и в другом случае невыгоды неподчинения меньше, чем невыгоды подчинения, и выгоды неподчинения больше выгод подчинения.

Если я принадлежу к меньшинству угнетателей, невыгоды неподчинения требованиям правительства будут состоять в том, что меня, как отказавшегося исполнить требования правительства, будут судить и в лучшем случае или оправдают, или, как поступают у нас с менонитами, — заставят отбывать срок службы на невоенной работе; в худшем же случае приговорят к ссылке или заключению в тюрьму на два, три года (я говорю по примерам, бывшим в России), или, может быть, и на более долгое заключение, может быть, и на казнь, хотя вероятность такого наказания очень мало.

Таковы невыгоды неподчинения. Невыгоды же подчинения будут состоять в следующем: в лучшем случае меня не пошлют на убийства людей и самого не подвергнут большим вероятностям искалечения и смерти, а только зачислят в военное рабство: я буду наряжен в шутовской наряд, мною будет помыкать всякий человек, выше меня чином, от ефрейтора до фельдмаршала, меня заставят кривляться телом, как им этого хочется, и, продержав меня от одного до пяти лет, оставят на десять лет в положении готовности всякую минуту явиться опять на исполнение всех этих дел. В худшем же случае будет то, что при всех тех же прежних условиях рабства меня еще пошлют на войну, где я вынужден буду убивать ничего не сделавших мне людей чужих народов, где могу быть искалечен и убит и где могу попасть в такое место, как это бывало в Севастополе и как бывает во всякой войне, где люди посылаются на верную смерть, и, что мучительнее всего, могу быть послан против своих же соотечественников и должен буду убивать своих братьев для династических или совершенно чуждых мне правительственных интересов. Таковы сравнительные невыгоды.

Сравнительные же выгоды подчинения и неподчинения следующие. Для неотказавшегося выгоды будут состоять в том, что он, подвергнувшись всем унижениям и исполнив все жестокости, которые от него требуются, может, не будучи убитым, получить украшения красные, золотые, мишурные на свой шутовской наряд, может в лучшем случае распоряжаться над сотнями тысяч таких же, как и он, оскотиненных людей и называться фельдмаршалом и получить много денег.

Выгоды же отказавшегося будут состоять в том, что он сохранит свое человеческое достоинство, получит уважение добрых людей и, главное, будет несомненно знать, что он делает дело Божье, и потому несомненное добро людям.

Таковы выгоды и невыгоды с обеих сторон для человека из богатых классов, для

угнетателя; для человека же бедного рабочего класса выгоды и невыгоды будут те же, но с важным прибавлением невыгод. Невыгоды для человека из рабочего класса, не отказавшегося от военной службы, будут еще состоять в том, что, поступая в военную службу, он своим участием и как бы согласием закрепляет то угнетение, в котором находится он сам.

Но не соображения о том, насколько нужно и полезно для людей то государство, которое они призываются поддерживать своим участием в военной службе, еще менее соображения о выгодах и невыгодах для каждого его подчинения или неподчинения требованиям правительства решают вопрос о необходимости существования или уничтожения государства. Решает этот вопрос бесповоротно и безапелляционно религиозное сознание или совесть каждого отдельного человека, перед которым невольно с общей воинской повинностью становится вопрос о существовании или несуществовании государства.

## VIII

Часто говорят, что если христианство есть истина, то оно должно бы было быть принято всеми людьми тогда же, когда появилось, и тогда должно бы было изменить жизнь людей и сделать ее лучшею. Но говорить так, всё равно что говорить, что если бы зерно было всхоже, то оно должно тотчас же дать росток, цвет и плод.

Христианское учение не есть законодательство, которое, будучи введено насильем, может тотчас же изменить жизнь людей. Христианство есть иное, чем прежнее, новое, высшее понимание жизни. Новое же понимание жизни не может быть предписано, а может быть только свободно усвоено.

Свободно же усвоено новое жизнепонимание может быть только двумя способами: духовным — внутренним и опытным — внешним.

Одни люди — меньшинство — тотчас же, сразу пророческим чувством указывают истинность учения, отдаются ему и исполняют его. Другие — большинство — только длинным путем ошибок, опытов и страданий приводятся к познанию истинности учения и необходимости усвоения его.

И вот к этой-то необходимости усвоения учения опытным, внешним способом и приведено теперь всё большинство людей христианского человечества.

Иногда думается: для чего было нужно то извращение христианства, которое и теперь более всего другого мешает принятию его в его истинном значении. А между тем это-то извращение христианства, приведши людей в то положение, в котором они находятся теперь, и было необходимым условием того, чтобы большинство людей могло воспринять его в его истинном значении.

Если бы христианство предлагалось людям в его истинном, а не извращенном виде, то оно бы не было принято большинством людей и большинство это осталось бы чуждым ему, как чужды ему теперь народы Азии. Приняв же его в извращенном виде, народы, принявшие его, подверглись хотя и медленному, но верному воздействию его и длинным, опытным путем ошибок и вытекающих из них страданий приведены теперь к необходимости усвоения его в его истинном значении.

Извращение христианства и принятие его в извращенном виде большинством людей было так же необходимо, как и то, чтобы для того, чтобы оно взошло, посеянное зерно было на время скрыто землей.

Христианское учение есть учение истины и вместе с тем пророчество.

Тысяча восемьсот лет тому назад христианское учение открыло людям истину о том, как им должно жить, и вместе с тем предсказало то, чем будет жизнь человеческая, если люди не будут так жить, а будут продолжать жить теми основами, которыми они жили до него, и чем она будет, если они примут христианское учение и будут в жизни исполнять его.

Преподав в нагорной проповеди то учение, которое должно руководить жизнью людей, Христос сказал: «И так всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному,

который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф. VII, 24-27).

И вот после 18 веков пророчество совершилось. Не следуя учению Христа вообще и проявлению его в общественной жизни непротивлением злу, люди невольно пришли к тому положению неизбежности гибели, которое обещано Христом тем, которые не последуют его учению.

Люди часто думают, что вопрос о противлении или непротивлении злу насиланием есть вопрос придуманный, вопрос, который можно обойти. А между тем это — вопрос, самую жизнь поставленный перед всеми людьми и перед всяким мыслящим человеком и неизбежно требующий своего разрешения. Вопрос этот для людей в их общественной жизни с тех пор, как проповедано христианское учение, есть, то же, что для путешественника вопрос о том, по какой из двух дорог идти, когда он приходит к разветвлению того пути, по которому шел. Идти надо, и нельзя сказать: не буду думать и буду идти, как шел прежде. Прежде была одна дорога, а теперь стало две, и нельзя идти, как шел прежде, а неизбежно выбрать одну из двух.

Так точно и нельзя сказать с тех пор, как учение Христа стало известно людям: буду жить, как я жил прежде, не решая вопроса о противлении или непротивлении злу насиланием. Надо неизбежно при возникновении каждой борьбы решить: противиться или не противиться насиланием тому, что я считаю злом, насиланием.

Вопрос о противлении или непротивлении злу насиланием возник тогда, когда появилась первая борьба между людьми, так как всякая борьба есть не что иное, как противление насиланием тому, что каждый из борющихся считает злом. Но люди до Христа не видали того, что противление насиланием тому, что каждый считает злом, только потому, что он считает злом то, что другой считает добром, есть только один из способов разрешения борьбы, а что другой способ состоит в том, чтобы вовсе не противиться злу насиланием.

До учения Христа людям представлялось, что есть только один способ разрешения борьбы посредством противления злу насиланием, и так и поступали, стараясь при этом каждый из борющихся убедить себя и других в том, что то, что каждый считает злом, и есть действительное, абсолютное зло.

И для этого с древнейших времен люди стали придумывать такие определения зла, которые бы были обязательны для всех. И за такие определения зла, обязательные для всех, выдавались то постановления законов, которые, предполагалось, были получены сверхъестественным путем, то веления людей или собраний людей, которым приписывалось свойство непогрешимости. Люди употребляли насилие против других людей и уверяли себя и других, что насилие это они не употребляли против зла, признанного всеми.

Средство это употреблялось с древнейших времен в особенности теми людьми, которые захватили власть, и люди долгое время не видали неразумности этого средства.

Но чем дальше жили люди, чем сложнее становились их отношения, тем более становилось очевидным, что противиться насиланием тому, что каждым считается злом, — неразумно, что борьба от этого не уменьшается и что никакие людские определения не могут сделать того, чтобы то, что считается злом одними людьми, считалось бы таковым и другими.

Уже во времена появления христианства, в том месте, где оно появилось, в Римской империи для большого числа людей было ясно, что то, что Нероном и Калигулой считается злом, которому надо противиться насиланием, не может считаться злом другими людьми. Уже тогда люди начинали понимать, что законы человеческие, выдаваемые за законы Божеские, писаны людьми, что люди не могут быть непогрешимы, каким бы они ни были облечены внешним величием, и что ошибающиеся люди не сделаются непогрешимыми оттого, что они соберутся вместе и назовутся сенатом или каким-нибудь другим таким именем. Тогда уже это чувствовалось и понималось многими. И тогда-то и было проповедуемо Христом его учение, состоящее не в том только, что не надо противиться злу насиланием, а учение о новом понимании жизни, частью или, скорее, приложением которого к общественной жизни и было учение о средстве уничтожения борьбы между всеми людьми не тем, чтобы обязать только одну часть людей без борьбы покоряться тому, что известными авторитетами будет предписано им, а тем, чтобы никому, следовательно и тем (и преимущественно тем), которые властвуют, не употреблять насилия ни против кого ни в каком случае.

Учение это было принято тогда только самым малым числом учеников, большинство же людей, в особенности все те, которые властвовали над людьми, и после номинального принятия христианства продолжало для себя держаться правила противления насилею тому, что ими считалось злом. Так шло это при римских и византийских императорах, так продолжалось это и после.

Несостоятельность принципа авторитетного определения того, что есть зло, и противления ему насилею, уже очевидная в первые века христианства, стала еще очевиднее при разложении Римской империи на многие равноправные государства, при их вражде между собою и при внутренней борьбе, происходившей в государствах.

Но люди не были готовы для принятия решения, данного Христом, и прежнее средство определения зла, которому надо противиться посредством установления обязательных для всех законов, приводившихся в исполнение силою, продолжало прилагаться. Решителем того, что должно было считать злом и чему противиться насилею, был то папа, то император, то король, то собрание выбранных, то весь народ. Но как внутри, так и вне государства всегда находились люди, не признававшие для себя обязательными ни постановлений, выдаваемых за веление божества, ни постановлений людей, облеченных святостью, ни учреждений, долженствовавшие представлять волю народа; и люди, которые считали добром то, что существующие власти считали злом, и таким же насилею, которое употреблялось против них, боролись против властей.

Люди, облеченные святостью, считали злом то, что люди и учреждения, облеченные светской властью, считали добром, и наоборот; и борьба становилась всё жесточе и жесточе. И чем дальше держались люди такого способа разрешения борьбы, тем очевиднее становилось, что этот способ не годится, потому что нет и не может быть такого внешнего авторитета определения зла, который признавался бы всеми.

Так продолжалось 18 веков и дошло до того, до чего дошло теперь, — до совершенной очевидности того, что внешнего обязательного для всех определения зла нет и не может быть. Дошло до того, что люди перестали не только верить в возможность отыскания этого общего, обязательного для всех определения, но перестали верить даже и в необходимость выставления такого определения. Дошло до того, что люди, имеющие власть, перестали уже доказывать то, что они считают злом, есть зло, но прямо стали говорить, что они считают злом то, что им не нравится, а люди, повинующиеся власти, стали повиноваться ей не потому уже, что верят, что определения зла, даваемые этой властью, справедливы, а только потому, что они не могут не повиноваться. Не потому присоединена Ницца к Франции, Лотарингия к Германии, Чехия к Австрии; не потому раздроблена Польша; не потому Ирландия и Индия подчиняются английскому правлению; не потому воюют с Китаем и убивают африканцев, не потому американцы изгоняют китайцев, а русские теснят евреев; не потому землевладельцы пользуются землей, которую они не обрабатывают, и капиталисты произведениями труда, совершаемого другими, что это — добро, нужно и полезно людям и что противное этому есть зло, а только потому, что те, кто имеет власть, хотят, чтобы это так было. Сделалось то, что есть теперь: одни люди совершают насилия уже не во имя противодействия злу, а во имя своей выгоды или прихоти, а другие люди подчиняются насилею не потому, что они считают, как это предполагалось прежде, что насилею делается над ними во имя избавления их от зла и для их добра, а только потому, что они не могут избавиться от насилия.

Коли римлянин, средневековый, наш русский человек, каким я помню его за 50 лет тому назад, был несомненно убежден в том, что существующее насилею власти необходимо нужно для избавления его от зла, что подати, поборы, крепостное право, тюрьмы, плети, кнуты, каторги, казни, солдатство, войны так и должны быть, — то ведь теперь редко уже найдешь человека, который бы не только верил, что все совершающиеся насилия избавляют кого-нибудь от какого-нибудь зла, но который не видел бы ясно, что большинство тех насилий, которым он подлежит и в которых отчасти принимает участие, суть сами по себе большое и бесполезное зло.

Нет теперь человека, который бы не видел не только бесполезности, но и нелепости собирания податей с трудового народа для обогащения праздных чиновников или бессмысленности наложения наказаний на развращенных и слабых людей в виде ссылок из

одного места в другое или в виде заключения в тюрьмы, где они, живя в обеспечении и праздности, только еще больше развращаются и ослабевают, или не только уже бесполезности и нелепости, но прямо безумия и жестокости военных приготовлений и войн разоряющих и губящих народ и не имеющих никакого объяснения и оправдания, а между тем эти насилия продолжают и даже поддерживаются теми самыми людьми, которые видят их бесполезность, нелепость, жестокость и страдают от них.

Ведь если 50 лет тому назад богатый, праздный и рабочий, безграмотный человек оба одинаково были уверены, что их положение вечного праздника для одних и вечного труда для других определено самим Богом, то теперь уже не только в Европе, но и в России, благодаря передвижениям населения, распространению грамотности и книгопечатанию, трудно найти из богачей и из бедняков такого человека, в которого бы не запало с той или другой стороны сомнение в справедливости такого порядка. Не только богачи знают, что они виноваты уже одним тем, что богаты, и стараются искупить свою вину, как прежде искупали грехи жертвами на церкви, жертвами на науку или искусство, но и большая половина рабочего народа прямо признает теперь существующий порядок ложным и подлежащим уничтожению или изменению. Одни люди, религиозные, каких у нас в России миллионы, так называемые сектанты, признают этот порядок ложным и подлежащим уничтожению на основании понятого в настоящем его смысле евангельского учения; другие считают его ложным на основании социалистических, коммунистических, анархических теорий, проникших теперь уже в низшие слои рабочего народа.

Насилие держится теперь уже не тем, что оно считается нужным, а только тем, что оно давно существует и так организовано людьми, которым оно выгодно, т. е. правительствами и правящими классами, что людям, которые находятся под их властью, нельзя вырваться из-под нее.

Правительства в наше время — все правительства, самые деспотические так же, как и либеральные, — сделались тем, что так метко называл Герцен Чингис-ханом с телеграфами, т. е. организациями насилия, не имеющими в своей основе ничего, кроме самого грубого произвола, и вместе с тем пользующимися всеми теми средствами, которые выработала наука для совокупной общественной мирной деятельности свободных и равноправных людей и которые они употребляют для порабощения и угнетения людей.

Правительства и правящие классы опираются теперь не на право, даже не на подобие справедливости, а на такую, с помощью усовершенствований науки, искусную организацию, при которой все люди захвачены в круг насилия, из которого нет никакой возможности вырваться. Круг этот составляется теперь из четырех средств воздействия на людей. Средства эти все связаны между собою и поддерживаются одно другим, как звенья кольцом соединенной цепи.

Первое, самое старое средство есть средство устрашения. Средство это состоит в том, чтобы выставлять существующее государственное устройство (какое бы оно ни было — свободное республиканское или самое дикое деспотическое) чем-то священным и неизменным и потому казнить самыми жестокими казнями все попытки изменения его. Средство это как употреблялось прежде, так употребляется и теперь неизменно везде, где есть правительства: в России против так называемых нигилистов, в Америке против анархистов, во Франции против империалистов, монархистов, коммунаров и анархистов. Железные дороги, телеграфы, телефоны, фотографии и усовершенствованный способ без убийства удаления людей навеки в одиночные заключения, где они, скрытые от людей, гибнут и забываются, и многие другие новейшие изобретения, которыми преимущественно перед другими пользуются правительства, дают им такую силу, что, если только раз власть попала в известные руки и полиция, явная и тайная, и администрация, и всякого рода прокуратуры, тюремщики и палачи усердно работают, нет никакой возможности свергнуть правительство, как бы оно ни было безумно и жестоко.

Второе средство есть средство подкупа. Оно состоит в том, чтобы, отобрав от трудового рабочего народа посредством денежных податей его богатства, распределять эти богатства между чиновниками, обязанными за это вознаграждение поддерживать и усиливать порабощение народа.

Подкупленные чиновники эти от высших министров до низших писцов, составляя одну



неразрывную сеть людей, связанных одним и тем же интересом кормления себя трудами народа, тем более обогащаемые, чем покорнее они исполняют волю правительств, всегда и везде, не останавливаясь ни перед какими средствами, во всех отраслях деятельности отстаивают словом и делом правительственное насилие, на котором и основано их благосостояние.

Третье средство есть то, что я не умею назвать иначе, как гипнотизация народа. Средство это состоит в том, чтобы задерживать духовное развитие людей и различными внушениями поддерживать их в отжитом уже человечеством понимании жизни, на котором зиждется власть правительств. Гипнотизация эта в настоящее время организована самым сложным образом и, начиная свое воздействие с детского возраста, продолжается над людьми до их смерти. Начинается эта гипнотизация с первого возраста в нарочно для того устроенных и обязательных школах, в которых внушают детям воззрения на мир, свойственные их предкам и прямо противоречащие современному сознанию человечества. В странах, где есть государственная религия, детей обучают бессмысленным кошунствам церковных катехизисов, с указанием необходимости повиновения властям; в республиканских государствах их обучают дикому суеверию патриотизма и той же мнимой обязательности повиновения правительствам. В более взрослых годах гипнотизация эта продолжается над людьми поощрением и религиозного суеверия и патриотического. Религиозное суеверие поощряется устройством на собранные с народа средства храмов, процессий, памятников, празднеств, с помощью живописи, архитектуры, музыки, благовоний, одуряющих народ, и, главное, содержанием так называемого духовенства, обязанность которого состоит в том, чтобы своими представлениями, пафосом служб, проповедей, своим вмешательством в частную жизнь людей — при родах, при браках, при смертях — отуманивать людей и держать их в постоянном состоянии одурения. Патриотическое суеверие поощряется устройством правительствами и правящими классами на собранные с народа средства общественных торжеств, зрелищ, памятников, празднеств, располагающих людей к признанию исключительной значительности одного своего народа и величия одного своего государства и правителей его и к недоброжелательству и даже ненависти к другим народам. При этом деспотическими правительствами прямо воспрещается печатание и распространение книг и произнесение речей, просвещающих народ, и ссылаются или запираются все люди, могущие пробудить народ от его усыпления; кроме того, всеми правительствами без исключения скрывается от народа всё, могущее освободить его, и поощряется всё, развращающее его, как-то: писательство, поддерживающее народ в его дикости религиозных и патриотических суеверий, всякого рода чувственные увеселения, зрелища, цирки, театры и всякие даже физические средства одурения: как-то: табак, водка, составляющие главный доход государства; поощряется даже проституция, которая не только признается, но организуется большинством правительств. Таково третье средство.

Четвертое средство состоит в том, чтобы посредством трех предшествующих средств выделять из всех таким образом закованных и одуренных людей еще некоторую часть людей для того, чтобы, подвергнув этих людей особым, усиленным способам одурения и озверения, сделать из них безвольные орудия всех тех жестокостей и зверств, которые понадобятся правительству. Достигается это одурение и озверение тем, что людей этих берут в том юношеском возрасте, когда в людях не успели еще твердо сложиться какие-либо ясные понятия о нравственности, и, удалив их от всех естественных человеческих условий жизни: дома, семьи, родины, разумного труда, запирают вместе в казармы, наряжают в особенное платье и заставляют их при воздействии криков, барабанов, музыки, блестящих предметов ежедневно делать известные, придуманные для этого движения и этими способами приводят их в такое состояние гипноза, при котором они уже перестают быть людьми, а становятся бессмысленными, покорными гипнотизатору машинами. Эти-то загипнотизированные, физически сильные, молодые люди (теперь при общей воинской повинности все молодые люди), снабженные орудиями убийства, всегда покорные власти правительств и готовые по его приказанию на всякое насилие, и составляют четвертое и главное средство порабощения людей.

Этим средством замыкается круг насилия. Устрашение, подкуп, гипнотизация приводят людей к тому, что они идут в солдаты; солдаты же дают власть и возможность и казнить людей, и обирать их (подкупая на эти деньги чиновников), и гипнотизировать, и вербовать их в те самые солдаты, которые дают власть делать всё это.

Круг замкнут, и вырваться из него силой нет никакой возможности. Если некоторые люди утверждают, что освобождение от насилия или хотя бы ослабление его может произойти вследствие того, что угнетенные люди, свергнув силою угнетающее правительство, заменят его новым, таким, при котором уже не будет нужно такого насилия и порабощения людей, и некоторые люди пытаются делать это, то эти люди только обманывают себя и других и этим не улучшают, а только ухудшают положение людей. Деятельность этих людей только усиливает деспотизм правительств. Попытки освобождения этих людей дают только удобный предлог правительствам для усиления своей власти и вызывают усиление ее.

Если даже и допустить то, что вследствие особенно невыгодно сложившихся для правительства обстоятельств, как, например, во Франции в 1870 году, какое-либо из правительств было бы свергнуто силою и власть перешла бы в другие руки, то эта новая власть ни в каком случае не была бы менее угнетательной, чем прежняя, а всегда, напротив, защищая себя от всех озлобленных свергнутых врагов, была бы более деспотична и жестока, чем прежняя, как это и было при всех революциях.

Если социалисты и коммунисты считают злом индивидуалистическое капиталистическое устройство общества, анархисты считают злом и самое правительство, т. е. и монархисты, консерваторы, капиталисты, считающие злом социалистическое, коммунистическое устройство и анархию; и все эти партии не имеют иного, кроме насилия, средства соединить людей. Какая бы из этих партий ни восторжествовала, для введения в жизнь своих порядков, так же как и для удержания власти, она должна употребить не только все существующие средства насилия, но и придумать новые. Порабощены будут другие люди и людей будут принуждать к другому, но будет не только то же, но более жестокое насилие и порабощение, потому что вследствие борьбы усилится ненависть людей друг против друга и вместе с этим усилятся и выработаются новые средства порабощения.

Так всегда и было после всех революций и всех попыток революций, всех заговоров, всяких насильственных перемен правительств. Всякая борьба только усиливает средства порабощения тех, которые в данное время находятся во власти.

Положение людей нашего христианского мира и в особенности самые ходячие идеалы их с поразительной убедительностью доказывают это.

Остается теперь только одна область деятельности людской, не захваченная правительственной властью, — область семейная, экономическая, область частной жизни и труда. И эта область теперь, благодаря борьбе коммунистов и социалистов, уже понемногу захватывается правительствами, так что труд и отдых, помещение, одежда, пища людей, всё понемногу, если только исполнятся желания реформаторов, будет определяться и назначаться правительствами.

Весь длинный 1800-летний ход жизни христианских народов неизбежно привел их опять к обходной ими необходимости решения вопроса принятия или неприятия учения Христа и вытекающего из него для общественной жизни решения вопроса о противлении или непротивлении злу насилием, но только с тою разницею, что прежде люди могли принять и не принять решение, данное христианством, теперь же это решение стало неизбежно, потому что оно одно избавляет их от того положения рабства, в котором они, как в тенетах, запутали сами себя.

Но не одна бедственность положения людей приводит их к этой необходимости.

Рядом с отрицательным доказательством ложности языческого устройства шло и положительное доказательство истинности христианского учения.

Недаром в продолжение 18 веков лучшие люди всего христианского человечества, внутренним, духовным путем познав истины учения, свидетельствовали о них перед людьми, несмотря ни на какие угрозы, лишения, бедствия и мучения. Лучшие люди эти своим мученичеством запечатлевали истинность учения и передавали его массам.

Христианство проникало в сознание человечества не одним отрицательным путем доказательства невозможности продолжения языческой жизни, но и своим упрощением, уяснением, освобождением от примешавшихся к нему суеверий и распространением между всеми сословиями народа.

Восемнадцать веков исповедания христианства не прошли даром для людей, принявших

его, хотя и внешним образом. Восемнадцать веков эти сделали то, что теперь люди, продолжая жить языческой жизнью, не соответствующей возрасту человечества, не только видят уже ясно всю бедственность того состояния, в котором они находятся, но в глубине души верят (только потому и живут, что верят) в то, что спасение от этого состояния только в исполнении христианского учения в его истинном значении. Как и когда совершится это спасение, все люди думают различно, соответственно своему умственному развитию и ходячим предрассудкам своей среды, но всякий человек нашего мира признает то, что спасение наше в исполнении христианского учения. Одни верующие люди, признающие христианское учение божественным, считают, что спасение наступит тогда, когда все люди поверят в Христа и приблизится второе пришествие; другие, также признающие божественность учения Христа, считают, что спасение это произойдет через церковь, которая, подчинив себе всех людей, воспитает в них христианские добродетели и преобразует их жизнь. Третьи, не признающие Христа Богом, считают, что спасение людей произойдет через медленный, постепенный прогресс, при котором основы жизни языческой заменятся понемногу основами свободы, равенства, братства, т. е. христианскими основами; четвертые, проповедующие общественное переустройство, считают, что спасение произойдет тогда, когда посредством насильственного переворота люди будут принуждены к общности имущества, отсутствию правительств, коллективному, а не индивидуальному труду, т. е. к осуществлению одной из сторон христианского учения. Так или иначе, но все люди нашего времени в сознании своем не только отрицают существующий отживший языческий строй жизни, но и признают, часто сами не зная этого и считая себя врагами христианства, то, что спасение наше только в приложении к жизни христианского учения или части его в его истинном значении.

Христианство для большинства людей, как и сказал его учитель, не могло осуществиться сразу, а должно было разрастаться, как огромное дерево, из мельчайшего зерна. И так оно и разрасталось и разрослось теперь, если еще не в действительности, то в сознании людей нашего времени.

Теперь не одно меньшинство людей, всегда понимавших христианство внутренним путем, признает его в его истинном значении, но и всё то огромное большинство людей, кажущееся по своей общественной жизни столь далеко отстоящим от христианства.

Посмотрите на частную жизнь отдельных людей, прислушайтесь к тем оценкам поступков, которые люди делают, судя друг о друге, послушайте не только публичные проповеди и речи, но те наставления, которые дают родители и воспитатели своим воспитанникам, и вы увидите, что, как ни далека государственная, общественная, связанная насильем жизнь людей от осуществления христианских истин в частной жизни, хорошими всеми и для всех без исключения и бесспорно считаются только христианские добродетели; дурными всеми и для всех без исключения и бесспорно считаются антихристианские пороки. Лучшими людьми считаются те, которые самоотверженно посвящают свою жизнь на служение человечеству и жертвуют собой для других; худшими считаются себялюбивые, пользующиеся для своих личных выгод бедствиями ближних.

Если признаются еще некоторыми нетронутыми христианством людьми идеалы нехристианские: сила, храбрость, богатство, то это идеалы, переживаемые и разделяемые не всеми и не людьми, признаваемыми лучшими. Всеми же разделяемых, всегда признаваемых обязательными для всех других идеалов, кроме христианских, нет.

Положение нашего христианского человечества, если посмотреть на него извне, с своей жестокостью и своим рабством людей, действительно ужасно. Но если посмотреть на него со стороны его сознания, то зрелище представляется совершенно другое.

Всё зло нашей жизни как будто существует только потому, что оно давно делалось, и люди, которые делают его, не успели, не научились еще перестать это делать, но все они не желают делать его.

Всё это зло существует по какой-то другой, как будто не зависимой от сознания людей, причине.

Как ни странно и ни противоречиво это кажется, все люди нашего времени ненавидят тот самый порядок вещей, который они сами же поддерживают.

Кажется, Макс Мюллер рассказывает про удивление одного индейца, обращенного в

христианство, который, усвоив сущность христианского учения, приехал в Европу и увидел жизнь христиан. Человек этот не мог прийти в себя от удивления перед действительностью, совершенно противоположной той, которую он ожидал найти среди христианских народов.

Если мы не удивляемся на то противоречие между нашими верованиями, убеждениями и поступками, то это происходит только оттого, что влияния, скрывающиеся от людей это противоречие, действуют и на нас. Стоит только взглянуть на нашу жизнь с точки зрения того индейца, который понял христианство в его истинном значении без всяких уступок и приспособлений, и на те дикие зверства, которыми наполнена наша жизнь, чтобы ужаснуться перед теми противоречиями, среди которых мы живем, часто не замечая их.

Стоит только вспомнить приготовления к войнам, картечницы, посеребренные пули, торпеды — и Красный Крест; устройство одиночных тюрем, опыты электрических казней — и заботы о благоденствии заключенных; филантропическую деятельность богачей — и их жизнь, производящую тех бедных, которых они благодетельствуют. И противоречия эти не происходят оттого, как это может показаться, что люди притворяются христианами, когда они язычники, а, напротив, оттого, что людям чего-то недостает или есть какая-то сила, которая мешает им быть тем, чем они уже чувствуют себя в своем сознании и чем они действительно хотят быть. Люди нашего времени не притворяются в том, что они ненавидят угнетение, неравенство, разделение людей и всякого рода жестокость не только к людям, но даже к животным, — они действительно ненавидят всё это, но не знают, как уничтожить это, или не решаются расстаться с тем, что поддерживает всё это и кажется им необходимым.

В самом деле, спросите порознь каждого человека нашего времени о том; считает ли он не только похвальным, но достойным человека нашего времени заниматься тем, чтобы, получая за это несоразмерное с трудами жалованье, собирать с народа — часто нищего — подати для того, чтобы на эти деньги строить пушки, торпеды и орудия убийства против людей, с которыми мы желаем быть мире и которые этого же самого желают по отношению нас; или тем, чтобы опять за жалованье посвящать всю свою жизнь на устройство этих орудий убийства, или на то, чтобы самому готовиться к убийству и готовить к этому людей? И спросите, похвально ли, и достойно ли человека, и свойственно ли христианину заниматься тем, чтобы опять за деньги ловить несчастных, заблудших, часто безграмотных, пьяных людей за то, что они присваивают чужую собственность в гораздо меньших размерах, чем мы ее присваиваем, и убивают людей не так, как это нами принято делать, и за это сажать их в тюрьмы, мучить и убивать? И похвально ли, достойно ли человека и христианина опять за деньги проповедовать в народе вместо христианства заведомо нелепые и вредные суеверия? Достойно ли человека отнимать у ближнего для своей прихоти то, что необходимо ему для удовлетворения его первых потребностей, как это делают большие землевладельцы; или заставлять его нести сверхсильный, губящий жизнь труд для увеличения своих богатств, как это делают заводчики, фабриканты; или пользоваться нуждою людей для увеличения своих богатств, как это делают купцы? И всякий порознь, в особенности если один будет говорить про другого, скажет, что нет. И вместе с тем тот же самый человек, который видит всю гнусность этих поступков, сам, никем не принуждаемый, даже иногда и без денежной выгоды жалованья, сам, произвольно, из-за детского тщеславия, из-за фарфоровой побрякушки, ленточки, галунчика, которые ему позволят надеть, сам произвольно идет в военную службу, в следователи, мировые судьи, министры, урядники, архиереи, дьячки, в должности, в которых ему необходимо делать все эти дела, постыдность и гнусность которых он не может не знать.

Знаю, что многие из этих людей будут с самоуверенностью доказывать, что они считают свое положение не только законным, но необходимым, будут в защиту свою говорить, что власти от Бога, что государственные должности необходимы для блага человечества, что богатство не противно христианству, что богатому юноше сказано отдать имение, только если он хочет быть совершен, что существующее теперь распределение богатств и торговля такими и должны быть и выгодны для всех и т. п. Но, как они ни стараются обмануть себя и других, все эти люди знают, что то, что они делают, противно всему тому, чему они верят, во имя чего они живут, и в глубине души, когда они остаются одни с своей совестью, им стыдно и больно вспомнить то, что они делают, особенно если гнусность их деятельности была указана им. Не может человек нашего времени, исповедуй он или не исповедуй божественности Христа, не

знать, что участвовать в качестве ли царя, министра, губернатора, или урядника в том, чтобы продать у бедной семьи последнюю корову на подати для того, чтобы отдать эти деньги на пушки или на жалованье и пансионы роскошествующим, праздным и вредным чиновникам; или участвовать в том, чтобы посадить в тюрьму кормильца семьи за то, что мы сами развратили его, и пустить семью его по миру; или участвовать в грабежах и убийствах войн; или во внушении вместо Христова закона диких идолопоклоннических суеверий; или загнать забежавшую на свою землю корову человека, у которого нет земли; или с человека, работающего на фабрике, вычесть за нечаянно испорченный предмет; или содрать вдвое за предмет с бедного только потому, что он в крайней нужде; не может не знать ни один человек нашего времени, что все эти дела — скверные, постыдные и что делать их не надо. И все они знают это; все они знают, что то, что они делают, дурно, и ни за что бы не стали делать этого, если бы были в состоянии противостоять тем силам, которые, закрывая их глаза на преступность их поступков, влекут их к совершению их.

Ни на чем так поразительно не видна та степень противоречия, до которой дошла жизнь людей нашего времени, как на том самом явлении, которое составляет последнее и средство и выражение насилия, — на общей воинской повинности.

Ведь только оттого, что это состояние всеобщего вооружения и воинской повинности наступило шаг за шагом, незаметно и что для поддержания его правительствами употребляются все находящиеся в их власти средства устрашения, подкупа, одурения и насилия, мы не видим вопиющего противоречия этого состояния с теми христианскими чувствами и мыслями, которыми действительно проникнуты все люди нашего времени.

Противоречие это стало нам так привычно, что мы и не видим всей ужасающей бессмыслицы и безнравственности поступков не только тех людей, которые по своей охоте избирают профессию убийства, как нечто почтенное, но и тех несчастных людей, которые соглашаются исполнять воинскую повинность, или хотя тех, которые в странах, где не введена воинская повинность, добровольно отдают свои труды на наем солдат и приготовления к убийству. Ведь все эти люди или христиане, или люди, исповедующие гуманность и либеральность, знают, что, совершая эти поступки, они становятся участниками, а при личной воинской повинности совершателями самых бессмысленных, бесцельных, жестоких убийств, и все-таки совершают их.

Но мало этого, в Германии, там, откуда и взялась общая военная повинность, Каприви высказал то, что старательно скрывалось прежде, то, что люди, которых надо будет убивать, не одни иноземцы, но свои, те самые рабочие, из которых взято большинство солдат. И это признание не открыло глаза людям, не ужаснуло их. И после этого, как и прежде, они продолжают идти, как бараны, в ставку и подчиняться всему тому, что от них требуют.

Но мало и этого: недавно немецкий император еще точнее разъяснил значение и призвание воина, отличив, благодарив и наградив солдата за то, что он убил беззащитного узника, пытавшего бежать. Благодаря и награждая человека за поступок, всегда людьми, стоящими на самой низкой степени нравственности, считающийся самым подлым и низким, Вильгельм показал, что главная и более всего ценимая властями обязанность солдата состоит в том, чтобы быть палачом, и не таким, как профессиональные палачи, убивающие только приговоренных преступников, но быть палачом всех тех невинных, которых велют убивать начальники.

Но мало и этого: в 1891 году тот же Вильгельм, *enfant terrible* государственной власти, высказывающий то, что другие думают, разговаривая с какими-то солдатами, публично сказал следующее, и на другой день тысячи газет перепечатывают эти слова:

«Рекруты! — говорит он. — В виду алтаря и служителя Бога вы присягнули мне на верность. Вы еще слишком молоды, чтобы понять истинное значение всего сказанного здесь, но заботьтесь прежде всего о том, чтобы следовать всегда данным приказаниям и учениям. Вы присягнули мне на верность, это дети моей гвардии, значит, что вы теперь мои солдаты, что вы предали себя мне душой и телом. Для вас существует теперь один враг, а именно тот, кто мой враг. При теперешних социалистических происках может случиться, что я прикажу вам стрелять в ваших собственных родственников, братьев, даже родителей — от чего Боже сохрани — и тогда вы обязаны беспрекословно исполнять мои приказы».

Человек этот высказывает то, что знают, но старательно скрывают все умные правители.

Он говорит прямо, что люди, служащие в войске, служат ему и его выгоде и должны быть готовы для его выгоды убивать своих братьев и отцов.

Он прямо, самым грубым словом выражает весь тот ужас преступления, к которому готовятся люди, поступающие в солдаты, всю ту пучину унижения, до которой они доходят, обещаясь в повиновении. Он, как смелый гипнотизатор, пробует степень усыпления загипнотизированного: приставляет ему к телу раскаленное железо, тело шипит и дымит, но усыпленный не просыпается.

Жалкий, ошалевший от власти, больной человек этот своими словами оскорбляет всё, что может быть святого для человека нашего времени, и люди — христиане, либералы, образованные люди нашего времени, все, не только не возмущаются на это оскорбление, но даже не замечают его. Людям предлагается самое последнее, крайнее испытание в самой грубой, резкой форме. И люди как будто не замечают даже того, что это есть испытание, что им предстоит выбор. Им как будто кажется, что и нет никакого выбора и что есть только один путь рабской покорности. Казалось бы, безумные слова эти, оскорбляющие всё то, что человек нашего времени считает святым, должны бы возмутить людей, но ничего подобного не случается. Все молодые люди всей Европы год за год подвергаются этому испытанию и за самыми малыми исключениями все отрекаются от всего, что есть и может быть святого для человека, все выражают готовность убить своих братьев, даже отцов по приказанию первого заблудшего человека, наряженного в обшитую красным и золотом ливрею, и только спрашивают, кого и когда им велят убивать. А они готовы.

Ведь у каждого дикого есть что-либо святое, за что он готов пострадать, но не уступить. Но где же это святое у человека нашего времени? Ему говорят: иди ко мне в рабство, в такое рабство, при котором придется убивать даже отца родного, и он, очень часто ученый, прошедший все науки в университете, покорно подставляет шею под хомут. Его наряжают в шутовской наряд, велят прыгать, кривляться, кланяться, убивать — он всё покорно делает. И когда его выпускают, он как востропанный возвращается в прежнюю жизнь и продолжает толковать о достоинстве человека, свободе, равенстве и братстве.

«Да, но что же делать, — часто с искренним недоумением спрашивают люди. — Если бы все отказались, тогда бы так. А то что ж, я один пострадаю и никому и ничему не сделаю пользы».

И правда, человеку общественного непонимания нельзя отказаться. Смысл его жизни — благо его личности. Для его личности ему лучше покориться, и он покоряется.

Что бы с ним ни делали, как бы ни мучили, как бы ни унижали его, он будет покоряться, потому что один он ничего не может сделать, у него нет той основы, во имя которой он мог бы противостоять насилию один. А соединиться им никогда не дадут те, которые управляют ими. Говорят часто, что изобретение страшных военных орудий убийства уничтожит войну; война уничтожит сама себя. Это неправда. Как можно увеличивать средства избиения людей, так можно увеличивать средства приведения к покорности людей общественного непонимания. Пускай их бьют тысячами, миллионами, разрывают на части, — они все-таки одни, как бессмысленная скотина, будут идти на бойню, потому что их подгоняют хлыстом; другие будут идти потому, что им за это позволяют надеть ленточки и галунчики, и будут даже гордиться этим.

И тут-то с составом людей, одуренных до того, что они обещаются убивать своих родителей, общественные деятели — консерваторы, либералы, социалисты, анархисты — толкуют о том, как устроить разумное и нравственное общество. Да какое же разумное и нравственное общество можно устроить из таких людей? Как из гнилых и кривых бревен, как ни перекалывай их, нельзя построить дома, так из таких людей нельзя устроить разумное и нравственное общество. Из таких людей может образоваться только стадо животных, управляемое криками и кнутами пастухов. Так оно и есть.

И вот, с одной стороны, люди, христиане по имени, исповедующие свободу, равенство, братство, рядом с этим готовы во имя свободы к самой рабской, униженной покорности, во имя равенства к самым резким и бессмысленным, только по внешним признакам, разделением людей на высших, низших, своих союзников и врагов, и во имя братства — готовы убивать этих

братьев<sup>6</sup>.

Противоречия сознания и вследствие этого бедственность жизни дошли до последней степени, дальше которой идти некуда. Жизнь, построенная на началах насилия, дошла до отрицания тех самых основ, во имя которых она была учреждена. Устройство общества на началах насилия, имевшее целью обеспечение блага личного, семейного и общественного, привело людей к полному отрицанию и уничтожению этих благ.

Первая часть пророчества совершилась над людьми и поколениями их, не принявшими учения, и потомки их приведены теперь к необходимости испытать справедливость второй части его.

## IX

Положение народов христианских в наше время осталось столь же жестоким, каким оно было во времена язычества. Во многих отношениях, в особенности в порабощении людей, оно стало даже более жестоким, чем было во времена язычества.

Но между положением людей в то время и в наше время та же разница, какая бывает для растений между последними днями осени и первыми днями весны. Там, в осенней природе, внешняя безжизненность соответствует внутреннему состоянию замирания; весной, внешняя безжизненность находится в самом резком противоречии с состоянием внутреннего оживления и перехода к новой форме жизни.

То же и в том внешнем сходстве прежней языческой жизни с теперешней. Сходство это только внешнее: внутреннее состояние людей во времена язычества и в наше время совершенно различно.

Там внешнее состояние жестокости и рабства людей было в полном согласии с внутренним сознанием людей, и каждый шаг вперед увеличивал это согласие; здесь же внешнее состояние жестокости и рабства находится в полном противоречии с христианским сознанием людей, и каждый шаг вперед только увеличивает это противоречие.

Происходят как бы ненужные, бесполезные страдания. Происходит нечто подобное родам. Всё готово для новой жизни, но жизнь эта все еще не появляется.

Положение кажется безвыходным. И оно было бы таковым, если бы человеку, а потому и всем людям, не была дана возможность иного, высшего понимания жизни, сразу освобождающего его от всех тех уз, которые, казалось, неразрывно связывали его.

И таково то, указанное еще 1800 лет тому назад человечеству, христианское понимание жизни.

Стоит человеку усвоить это жизнепонимание для того, чтобы сами собой распались те цепи, которые, казалось, так неразрывно сковывали его, и чтобы он почувствовал себя совершенно свободным, вроде того, как почувствовала бы себя свободной птица в загороженном кругом месте, когда бы она раскрыла свои крылья.

Говорят об освобождении христианской церкви от государства, о даровании или недаровании свободы христианам. В этих мыслях и выражениях есть какое-то странное недоразумение. Свобода не может быть дарована или отнята у христианина или христиан. Свобода есть неотъемлемое свойство христианина.

Если же говорится о даровании или отнятии свободы от христиан, то, очевидно, говорится не о действительных христианах, а о людях, только называющих себя христианами. Христианин не может быть не свободен потому, что достижение поставленной им для себя цели никем и ничем не может быть воспрепятствовано или хотя бы задержано.

Стоит человеку понять свою жизнь так, как учит понимать ее христианство, т. е. понять то, что жизнь его принадлежит не ему, его личности, не семье или государству, а тому, кто послал его в жизнь, понять то, что исполнять он должен поэтому не закон своей личности, семьи или

<sup>6</sup> То, что у некоторых народов, у англичан и американцев, нет еще общей воинской повинности (хотя у них уже раздаются голоса в пользу ее), а вербовка и наем солдат, то это несколько не изменяет положения рабства граждан по отношению правительств. Там каждый сам должен идти и убивать и быть убитым, здесь каждый должен отдавать свои труды на наем и приготовление убийц.

государства, а ничем не ограниченный закон того, от кого он исшел, чтобы не только почувствовать себя совершенно свободным от всякой человеческой власти, но даже перестать видеть эту власть, как нечто могущее стеснять кого-либо.

Стоит человеку понять, что цель его жизни есть исполнение закона Бога, для того чтоб этот закон, заменив для него все другие законы и подчинив его себе, этим самым подчинением лишил бы в его глазах все человеческие законы их обязательности и стеснительности.

Христианин освобождается от всякой человеческой власти тем, что считает для своей жизни и жизни других Божеский закон любви, вложенный в душу каждого человека и приведенный к сознанию Христом, единственным руководителем жизни своей и других людей.

Христианин может подвергаться внешнему насилию, может быть лишен телесной свободы, может быть не свободен от своих страстей (делающий грех есть раб греха), но не может быть не свободен в том смысле, чтобы быть принужденным какою-либо опасностью или какою-либо внешнею угрозою к совершению поступка, противного своему сознанию.

Он не может быть принужден к этому потому, что составляющие могущественное орудие против людей общественного жизнепонимания лишения и страдания, производимые насилием, не имеют для него никакой принудительной силы. Лишения и страдания, отнимающие у людей общественного жизнепонимания то благо, для которого они живут, не только не могут нарушить блага христианина, состоящего в сознании исполнения воли Бога, но только могут усилить его, когда они постигают его за исполнение этой воли.

И потому христианин, подчиняясь одному внутреннему, божественному закону, не только не может исполнять, предписания внешнего закона, когда они не согласны с сознаваемым им Божеским законом любви, как это бывает при правительственных требованиях, но не может признавать и обязательства повиновения кому и чему бы то ни было, не может признавать того, что называется подданством. Для христианина обещание подданства какому бы то ни было государству — тот самый акт, который считается основанием государственной жизни, есть прямое отречение от христианства, потому что человек, безусловно вперед обещающийся подчиняться тем законам, которые составляют и будут составлять люди, этим обещанием самым положительным образом отрекается от христианства, состоящего в том, чтобы во всех случаях жизни подчиняться только сознаваемому им в себе Божескому закону любви.

Можно было при языческом мирозерцании обещаться исполнять волю светских властей, не нарушая волю Бога, полагаемую в обрезании, субботе, определенной временем молитве, воздержании от известного рода пищи и т. п. Одно не противоречило другому. Но тем-то и отличается христианское исповедание от языческого, что оно требует от человека не известных внешних отрицательных действий, а ставит его в иное, чем прежде, отношение к людям, из которого могут вытекать самые разнообразные, не могущие быть вперед определенными поступки, и потому христианин не может обещаться не только исполнять чью-либо другую волю, не зная, в чем будут состоять требования этой воли, не может повиноваться изменяющимся законам человеческим, но не может и обещаться что-либо определенное делать в известное время или от чего-либо в известное время воздержаться, потому что он не может знать, чего и в какое время потребует от него тот христианский закон любви, подчинение которому составляет смысл его жизни. Христианин, обещаясь вперед безусловно исполнять законы людей, этим обещанием заявил бы то, что внутренний закон Божий не составляет уже для него единственный закон его жизни.

Христианину обещаться в повиновении людям или законам людским — всё равно что нанявшемуся к хозяину работнику обещаться вместе с тем исполнять всё то, что ему прикажут еще и чужие люди. Нельзя служить двум господам.

Христианин освобождается от человеческой власти тем, что признает над собой одну власть Бога, закон которой, открытый ему Христом, он сознает в самом себе, и подчиняется только ей.

И освобождение это совершается не посредством борьбы, не разрушением существующих форм жизни, а только изменением понимания жизни. Освобождение происходит вследствие того, что, во-первых, христианин признает закон любви, открытый ему его учителем, совершенно достаточным для отношений людских и потому считает всякое насилие излишним и незаконным, и, во-вторых, вследствие того, что те лишения, страдания, угрозы страданий и



лишений, которыми общественный человек приводится к необходимости повиновения, для христианина, при его ином понимании жизни, представляются только неизбежными условиями существования, которые он, не борясь против них насилем, терпеливо переносит, как болезни, голод и всякие другие бедствия, но которые никак не могут служить руководством его поступков. Руководством поступков христианина служит только живущее в нем божественное начало, ничем не могущее быть стесненным или направленным.

Христианин поступает по слову пророчества, приложенного к его учителю: «Не воспрекословит, не возопиет и никто не слышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы» (Мф. XII, 19-20).

Христианин ни с кем не спорит, ни на кого не нападает, ни против кого не употребляет насилия; напротив того, сам беспрекословно переносит насилие; но этим самым отношением к насилию не только сам освобождается, но и освобождает мир от всякой внешней власти.

«Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан. VIII, 32). Если бы было сомнение в том, что христианство есть истина, то та полная свобода, ничем не могущая быть стесненной, которую испытывает человек, как скоро он усваивает христианское жизнепонимание, была бы несомненным доказательством его истинности.

Люди в теперешнем своем состоянии подобны отроившимся пчелам, висящим кучею на ветке. Положение пчел на ветке временное и неизбежно должно быть изменено. Они должны подняться и найти себе новое жилище. Каждая из пчел знает это и желает переменить свое положение и положение других, но ни одна не может этого сделать до тех пор, пока не сделают этого остальные. Все же не могут вдруг подняться потому, что одна висит на другой и мешает ей отделиться от роя, и потому все продолжают висеть. Казалось бы, пчелам нет из этого положения никакого выхода, как это кажется людям мирским, запутавшимся в тенета общественного мирозерцания. Но выхода не было бы пчелам, если бы каждая из пчел не была отдельно живущим существом, одаренным крыльями. Не было бы выхода и людям, если бы каждый из них не был живым отдельным существом, одаренным способностью усвоения христианского жизнепонимания.

Если бы каждая пчела, та, которая может лететь, не полетела бы, никогда не тронулись бы и остальные и никогда рой не изменил бы своего положения. И если бы тот человек, который усвоил христианское жизнепонимание, не стал бы, не дожидаясь других, жить сообразно с этим пониманием, никогда бы человечество не изменило своего положения. И как стоит одной пчеле раскрыть крылья, подняться и полететь и за ней другой, третьей, десятой, сотой, для того чтобы висевшая неподвижно кучка стала бы свободно летящим роем пчел, так точно стоит только одному человеку понять жизнь так, как учит его понимать ее христианство, и начать жить так, и за ним сделать то же другому, третьему, сотому, для того чтобы разрушился тот заколдованный круг общественной жизни, из которого, казалось, не было выхода.

Но люди думают, что освобождение всех людей этим способом слишком медленно, что нужно найти и употребить другое такое средство, которым можно бы было освободить всех сразу. Вроде того, как если бы пчелы, желающие подняться и улететь, находили бы, что слишком долго дожидаться, пока поднимется весь рой по одной пчеле, а надо найти такое средство, при котором не нужно бы было каждой отдельной пчеле раскрыть крылья и полететь, а вместе с тем и рой полетел бы, куда ему надо. Но это невозможно: до тех пор, пока первая, вторая, третья, сотая пчела свободно не раскроет свои крылья и не полетит, не полетит и рой и не найдет новой жизни. Пока не усвоит каждый отдельный человек христианского жизнепонимания и не станет жить сообразно с ним, не разрешится противоречие жизни людской и не установится новой формы жизни.

Одно из поразительных явлений нашего времени это — та проповедь рабства, которая распространяется в массах не только правительствами, которым это нужно, но теми людьми, которые, проповедуя социалистические теории, считают себя поборниками свободы.

Люди эти проповедуют, что улучшение жизни, приведение действительности в согласие с сознанием произойдет не вследствие личных усилий отдельных людей, а само собой, вследствие известного, кем-то произведенного насильственного переустройства общества. Проповедуется то, что людям не надо идти своим собственным путем, куда они хотят и куда им нужно, но что под них подведется такой пол, по которому они, не идя своими ногами, придут

туда, куда им нужно. И потому все усилия их должны быть направлены не на то, чтобы идти по мере сил туда, куда им нужно, а на то, чтобы, стоя на месте, устраивать этот воображаемый пол.

В экономическом отношении проповедуется теория, сущность которой в том, что чем хуже, тем лучше, что чем больше будет скопления капитала и потому угнетения рабочего, тем ближе освобождение, и потому всякое личное усилие человека освободиться от давления капитала бесполезно; в государственном отношении проповедуется, что чем больше будет власть государства, которая должна по этой теории захватить не захваченную еще теперь область частной жизни, тем это будет лучше, и что потому надо призывать вмешательство правительств в частную жизнь; в политических и международных отношениях проповедуется то, что увеличение средств истребления, увеличение войск приведут к необходимости разоружения посредством конгрессов, арбитражей и т. п. И удивительное дело, косность людей так велика, что люди верят этим теориям, несмотря на то, что весь ход жизни, каждый шаг вперед обличает неверность их.

Люди страдают от угнетения, и для избавления их от этого угнетения советуется людям придумывать общие средства улучшения своего положения, которые будут приложены властью, самим же продолжать подчиняться власти. И, очевидно, вследствие этого происходит только всё большее увеличение власти и вследствие того увеличение угнетения.

Ни одно из заблуждений людей не удаляет их столько от той цели, к которой они стремятся, как именно это. Люди для достижения поставленной себе цели делают всякие, самые разнообразные дела, но только не то одно, простое и прямое дело, которое предстоит каждому. Люди придумывают самые хитрые способы изменения того положения, которое тяготит их, но только не тот самый простой, чтобы каждому не делать того самого, что и производит это положение.

Мне рассказывали случай, происшедший с храбрым становым, который, приехав в деревню, где бунтовали крестьяне и куда были вызваны войска, взялся усмирить бунт в духе Николая I, один, своим личным влиянием. Он велел привезти несколько возов розог и, собрав всех мужиков в ригу, с ними вместе вошел туда, заперся и так напугал сначала мужиков своим криком, что они, повинувшись ему, стали по его приказанию сечь друг друга. И так они секли друг друга до тех пор, пока не нашелся один дурачок, который не дался сам и закричал товарищам, чтобы они не секли друг друга. Только тогда прекратилось сечение, и становой убежал из риги. Вот этому-то совету дурачка никак не могут последовать общественные люди, которые, не переставая, секут сами себя и этому самосечению учат людей как последнему слову мудрости человеческой.

В самом деле, можно ли представить себе более поразительный пример того, как люди сами секут себя, чем та покорность, с которой люди нашего времени исполняют возлагаемые на них те самые обязанности, которые приводят их в рабство, в особенности воинскую повинность. Люди, очевидно, поработают сами себя, страдают от этого рабства и верят тому, что это так и надо, что это ничего и не мешает освобождению людей, которое готовится где-то и как-то, несмотря на всё увеличивающееся и увеличивающееся рабство.

В самом деле, живет человек нашего времени — кто бы ни был (я не говорю про истинного христианина, а про рядового человека нашего времени), образованный или необразованный, верующий или неверующий, богатый или бедный, семейный или несемейный. Живет такой человек нашего времени, работая свою работу или веселясь своими весельями, потребляя плоды своих или чужих трудов для себя и для близких, как и все люди, ненавидя всякого рода стеснения и лишения, вражду и страдания. Живет спокойно такой человек: вдруг к нему приходят люди и говорят ему: во-1-х, обещайся и поклянись нам, что ты будешь рабски повиноваться нам во всем том, что мы предпишем тебе, и будешь считать несомненной истиной и подчиняться всему тому, что мы придумаем, решим и назовем законом; во-2-х, отдай часть твоих трудов в наше распоряжение; мы будем употреблять эти деньги на то, чтобы держать тебя в рабстве и помешать тебе противиться насильем нашим распоряжениям; в-3-х, избирай и сам избирайся в мнимые участники правительства, зная при этом, что управление будет происходить совершенно независимо от тех глупых речей, которые ты будешь произносить с подобными тебе, и будет происходить по нашей воле, по воле тех, в руках кого войско; в-4-х, в известное время являйся в суд и участвуй во всех тех бессмысленных жестокостях, которые мы

совершаем над заблудшими и развращенными нами же людьми, под видом тюремных заключений, изгнаний, одиночных заключений и казней. И, наконец, в-5-х, сверх всего этого, несмотря на то, что ты будешь находиться в самых дружественных сношениях с людьми других народов, будь готов тотчас же, когда мы тебе велим это, считать тех из этих людей, которых мы тебе укажем, своими врагами и содействовать лично или наймом разорению, ограблению, убийству их мужчин, жен, детей, стариков, а, может быть, и твоих одноплеменников, может быть, и родителей, если это нам понадобится.

Казалось бы, что может ответить на такие требования всякий неодуренный человек нашего времени?

«Да зачем же я буду делать всё это, — казалось бы, с удивлением должен сказать всякий душевно здоровый человек. — Зачем я буду обещаться повиноваться всему тому, что мне велят нынче Салисбюри, завтра Гладстон, нынче Буланже, завтра палата из таких же Буланже, нынче Петр III, завтра Екатерина, послезавтра Пугачев, нынче баварский сумасшедший король, завтра Вильгельм? Зачем я буду обещаться повиноваться им, зная их за дурных или же пустых людей или вовсе не зная их? Зачем я буду под видом подати отдавать им плоды своих трудов, зная, что деньги употребляются на подкуп чиновников, тюрьмы, церкви, войска, на дурные дела и на мое же порабощение, зачем я буду сечь сам себя? Зачем я пойду, теряя свое время и отводя себе глаза и придавая насильникам подобие законности, участвовать в выборах и притворяться, что я участвую в управлении, когда я знаю очень хорошо, что управление государством в руках тех, в руках кого войско? Зачем я пойду в судах участвовать в истязаниях и казнях людей за то, что они заблуждаются, зная, если я христианин, что закон мести заменен законом любви, и если я образованный человек, то, что наказания не улучшают, а только ухудшают людей, которых им подвергают? И зачем, главное, я из-за того только, что ключи от иерусалимского храма будут у того, а не у этого архиерея, что в Болгарии будет князем тот, а не этот немец, и что тюленей будут ловить английские, а не американские купцы, признаю врагами людей соседнего народа, с которыми я жил до сих пор и желаю жить в любви и согласии, и найму солдат или сам пойду убивать и разорять их и сам подвергнусь их нападению? И зачем, главное, буду содействовать лично ли, или наймом военной силы порабощению и убийству своих братьев и отцов? Зачем я буду сечь сам себя? Всё это мне не нужно, и всё это мне вредно, и всё это со всех сторон безнравственно, подло, скверно. Так зачем же я буду делать это? Если вы говорите, что без этого мне от кого-то будет худо, то, во-первых, ничего столь худого, как то худое, которое вы мне причиняете, если я послушаюсь вас, мне ни от кого не предвидится; во-вторых, мне совершенно ясно, что если мы сами не будем сечь себя, то и никто не будет сечь нас. Ведь правительство — это цари, министры, чиновники с перьями, которые меня ни к чему, как тот становой мужиков, принудить не могут: поведут меня насильно в суд, в тюрьму, на казнь не цари и чиновники с перьями, а те самые люди, которые находятся в таком же положении, как и я. А им так же бесполезно, и вредно, и неприятно быть сеченными, как и мне, и потому, по всем вероятностям, если я им открою глаза, они не только не должны насиловать меня, но должны сделать то же, что и я.

В-третьих, если бы даже и случилось то, что мне пришлось бы пострадать за это, то и тогда мне выгоднее быть сосланным или запертым в тюрьму, отстаивая здравый смысл и добро — то, что, не нынче-завтра, но через очень короткое время, должно восторжествовать, чем пострадать за глупость и зло, которые нынче-завтра должны кончиться. И потому даже и в этом случае выгоднее рисковать тем, что меня сошлют, запрут в тюрьму и даже казнят, чем тем, что по моей же вине я проживу всю жизнь в рабстве у дурных людей, могу быть разорен вторгнувшимся неприятелем, им по-дурацки искалечен и убит, отстаивая пушку, или никому не нужный клочок земли, или глупую тряпку, называемую знаменем.

Я не хочу сечь сам себя и не буду. Мне незачем это делать. Делайте сами, коли вы этого хотите, я не буду».

Казалось бы, не только религиозное или нравственное чувство, но самое простое рассуждение и расчет должны бы заставить каждого человека нашего времени ответить и поступить так. Но нет: люди общественного непонимания находят, что поступать так не нужно и даже вредно для достижения цели освобождения людей от рабства, а надо продолжать, как те мужики станового, сечь друг друга, утешая себя тем, что то, что мы болтаем в палатах и

на собраниях, составляем союзы рабочих, гуляем 1-го мая по улицам, делаем заговоры и исподтишка дразним правительство, которое сечет нас, что это сделает всё то, что мы, всё больше и больше закабалая себя, очень скоро освободимся.

Ничто не мешает столько освобождению людей, сколько это удивительное заблуждение. Вместо того чтобы каждому человеку направить свои силы на освобождение самого себя, на изменение своего жизнепонимания, люди ищут внешнего совокупного средства освобождения и тем всё больше и больше заковывают себя.

Вроде как если бы люди утверждали, что для того, чтобы развести жар, нужно не то, чтобы разжечь каждый уголь, а то, чтобы расположить уголья известным образом.

А между тем то, что освобождение всех людей произойдет именно через освобождение отдельных лиц, становится в последнее время всё более и более очевидным. Освобождение отдельных лиц во имя христианского жизнепонимания от государственного порабощения, бывшее прежде исключительным и незаметным явлением, получило в последнее время угрожающее для государственной власти значение.

Если в прежнее время, во времена Рима, в Средние века, случалось, что христианин, исповедуя свое учение, отказывался от участия в жертвах, от поклонения императорам, Богам или в Средние века от поклонения иконам, от признания папской власти, то отрицания эти, во-первых, были случайны: человек мог быть поставлен в необходимость исповедания своей веры и мог прожить жизнь, не будучи поставлен в эту необходимость. Теперь же этим испытаниям веры подвергаются все люди без исключения. Всякий человек нашего времени поставлен в необходимость признать свое участие в жестокостях языческой жизни или отвергнуть ее. И, во-вторых, в те времена отказы от поклонения Богам, иконам, папе составляли не существенные для государства явления: сколько бы людей поклонялось или не поклонялось Богам или иконам, или папе, государство оставалось столь же сильно. Теперь же отказы от нехристианских требований правительств подрывают под корень самую государственную власть, потому что на исполнении этих нехристианских требований зиждется вся власть государства.

Мирские власти были ходом жизни приведены к тому положению, что для своего поддержания они должны требовать от всех людей таких поступков, которые не могут быть исполнены людьми, исповедующими истинное христианство.

И потому в наше время всякое исповедание отдельным человеком истинного христианства подрывает в самом существенном власть правительства и неизбежно влечет за собой освобождение всех.

Что, казалось бы, важного в таких явлениях, как отказы нескольких десятков шальных, как их называют, людей, которые не хотят присягать правительству, не хотят платить подати, участвовать в суде и в военной службе? Людей этих наказывают и удаляют, и жизнь идет по-старому. Казалось бы, нет ничего важного в этих явлениях, а между тем эти-то явления более всего другого подрывают власть государства и готовят освобождение людей. Это те отдельные пчелы, которые начинают отделяться от роя и летают около, ожидая того, что не может задержаться, — чтобы весь рой поднялся за ними. И правительства знают это и боятся этих явлений больше всех социалистов, коммунистов, анархистов и их заговоров с динамитными бомбами.

Наступает новое царствование; по общему правилу и заведенному порядку требуется, чтобы все подданные присягнули новому правительству. Делается общее распоряжение. Призывают всех в в собор для присяги. Вдруг один человек в Перми, другой в Туле, третий в Москве, четвертый в Калуге объявляют, что они присягать не будут, и объясняют свой отказ все, не сговариваясь между собой, одним и тем же, что по христианскому закону клятва запрещена, но что если бы клятва и не была запрещена, то они по духу христианского закона не могут обещаться совершать те дурные поступки, которые требуются от них в присяге, как-то: доносить на всех тех, которые будут нарушать интересы правительства, защищать с оружием в руках свое правительство или нападать на врагов его. Их призывают к станovým, исправникам, священникам, губернаторам, увещевают, упрощают, угрожают и наказывают, но они остаются при своем решении и не присягают. И среди миллионов присягавших живут десятки не присягавших. И их спрашивают:

— Как же вы не присягали?

— Так и не присягали.

— И что же, ничего?

— Ничего. Подданные государства обязаны все платить подати. И все платят, но один человек в Харькове, другой в Твери, третий в Самаре отказываются платить подать, говоря все, как бы сговорившись, одно то же. Один говорит, что он заплатит только тогда, когда ему скажут, на что пойдут отбираемые от него деньги. Если на добры дела, говорит он, то он сам даст и больше того, что от него требуют. Если же на злые, то не даст добровольно ничего, потому что по закону Христа, которому он следует, он не может содействовать злым делам. То же, хотя и другими словами, говорят и другие и не дают добровольно подати. У тех, у которых есть что взять, отбирают насильно имущество; тех же, у которых нечего взять, оставляют в покое.

— Что же, так и не заплатил подать?

— Не заплатил.

— И что же, ничего?

— Ничего. Учреждены паспорта. Все, отлучающиеся от места жительства, обязаны брать их и платить за это пошлины. Вдруг в разных местах является люди, которые говорят, что брать паспорта не нужно, что не следует признавать свою зависимость от государства, живущего насильем, и люди эти не берут паспортов и не платят за них пошлину. И опять ничем нельзя заставить этих людей исполнять требуемое. Их запирают в остроги и опять выпускают, и люди живут без паспортов.

Все крестьяне обязаны исполнять полицейские должности сотских, десятских и т. п. Вдруг в Харькове крестьянин отказывается исполнять эту обязанность, объясняя свой отказ тем, что по тому христианскому закону, который он исповедует, он не может никого связывать, запираеть, водить из места в место. То же заявляет крестьянин в Твои, в Тамбове. Крестьян ругают, бьют, сажают в заключение, но они остаются при своем решении и не исполняют противного своей вере. И их перестают выбирать в сотские, и опять ничего.

Все граждане должны участвовать в суде в качестве присяжных. Вдруг самые разнообразные люди: каретники, профессора, купцы, мужики, дворяне, как бы сговорившись, отказываются от этих обязанностей, и не по причинам, признаваемым законом, а потому, что самый суд, по их убеждению, есть дело незаконное, нехристианское, которое не должно существовать. Людей этих штрафуют, стараясь не дать им публично высказать мотивы отказа, и заменяют другими. Точно так же поступают и с теми, которые на тех же основаниях отказываются быть на суде свидетелями. И тоже ничего.

Все люди 21-го года обязаны брать жребий. Вдруг один молодой человек в Москве, другой в Твери, третий в Харькове, четвертый в Киеве как бы по предварительному уговору являются в присутствие и заявляют, что они ни присягать, ни служить не будут, потому что они христиане. Вот подробности одного из первых, с тех пор как отказы эти стали учащаться, случаев, который мне хорошо известен<sup>7</sup>. Во всех других случаях повторялось приблизительно то же. Молодой человек среднего образования отказывается в Московской думе. На слова его не обращают внимания и требуют, чтобы он, так же как и другие, произнес слова присяги. Он отказывается, указывая на определенное место Евангелия, запрещающее клятву. На его доводы не обращают внимания и требуют исполнения приказания, но он не исполняет его. Тогда предполагается, что он сектант и потому неправильно понимает христианство, т. е. не так, как понимают оплачиваемые государством священники. И молодого человека под конвоем отправляют к священникам, чтобы вразумить его. Священники начинают вразумлять молодого человека, но убеждения их во имя Христа отказаться от Христа, очевидно, не действуют на молодого человека, и его возвращают опять в войско, объявляя его неисправимым. Молодой человек продолжает не присягать и открыто отказывается от исполнения военных обязанностей. Случай этот не предвиден законом. Допустить отказ от исполнения требований начальства нельзя, но и приравнять этот случай простому неповиновению тоже нельзя. По совещании между собой военные власти решаются, чтобы избавиться от затруднительного молодого человека, признать

<sup>7</sup> Все подробности как этого случая, так и предшествующих подлинны.

его революционером и отсылают его под конвоем в управление тайной полиции. Полицейские и жандармы допрашивают молодого человека, но всё, что он говорит, не подходит ни под одно из подлежащих их ведению преступлений, и нет никакой возможности обвинить его ни в революционных поступках, ни в заговорах, так как он объявляет, что он ничего не желает разрушать, а, напротив, отрицает всякое насилие и ничего не скрывает, а ищет случая говорить и делать то, что он говорит и делает, самым открытым образом. И жандармы, несмотря на отсутствие для них законов, так же как и духовенство, не находя никакого повода к обвинению молодого человека, возвращают его опять в войско. Опять совещаются начальники и решают хотя и не присягнувшего молодого человека принять и зачислить в солдаты. Его одевают, зачисляют и отправляют под стражею на место размещения войск. На месте размещения войск начальник части, в которую он поступает, опять требует от молодого человека исполнения военных обязанностей, и он опять отказывается повиноваться и при других солдатах высказывает причину своего отказа, говорит, что он как христианин не может добровольно готовиться к убийству, запрещенному еще законом Моисея.

Дело происходит в провинциальном городе. Случай вызывает интерес и даже сочувствие не только в посторонних, но и в офицерах, и потому начальники не решаются употребить обычную дисциплинарную меру за отказ в повиновении. Для приличия, однако, молодого человека запирают в тюрьму и пишут в высшее военное управление, спрашивая, что делать? С официальной точки зрения отказ от участия в военной службе, в которой служит сам царь и которая благословляется церковью, представляется сумасшествием, и потому из Петербурга пишут, что так как молодой человек должен быть не в своем рассудке, то, не употребляя еще против него крутых мер, отправить его для исследования его душевного здоровья и для излечения его в дом умалишенных. Его отправляют в надежде, что он там и останется, как десять лет тому назад было с отказавшимся в Твери от военной службы другим молодым человеком, которого мучили в сумасшедшем доме до тех пор, пока он покорился. Но и эта мера не спасает военное начальство от неудобного молодого человека. Доктора свидетельствуют его, очень заинтересовываются им и, разумеется, не найдя в нем никаких признаков душевной болезни, возвращают опять в войско. Его принимают и, делая вид, что забыли про его отказ и мотивы его, ему опять предлагают идти на учение, и опять он при других солдатах отказывается и заявляет о причине своего отказа. Дело это всё больше и больше обращает на себя внимание и солдат и жителей города. Опять пишут в Петербург и оттуда выходит решение перевести молодого человека в войска, стоящие на окраинах, в места, где войска находятся на военном положении и где за отказ повиноваться можно расстрелять его, и где дело это может пройти незаметно, так как в далеком крае этом очень мало русских и христиан, а большинство инородцы и магометане. Так и делают. Молодого человека перечисляют в войска, стоящие в Закаспийском крае, и с преступниками отправляют к начальнику, известному своею решительностью и строгостью.

Во всё это время, при всех этих пересылках из места в место, с молодым человеком обращаются грубо, держат его в холоде, голоде и нечистоте и вообще всячески делают его жизнь мучительною. Но все эти истязания не заставляют его изменить своему решению. В Закаспийском крае, когда ему опять предлагают идти в караул с оружием, он опять отказывается повиноваться. Он не отказывается идти стоять подле стогов сена, куда его посылают, но отказывается взять оружие, объявляя, что он ни в каком случае ни против кого не будет употреблять насилие. Всё это происходит перед другими солдатами. Оставить такой отказ безнаказанно нельзя, и молодого человека отдают под суд за нарушение дисциплины. Происходит суд, и молодого человека приговаривают к заключению в военной тюрьме на два года. Опять по этапу с преступниками его пересылают на Кавказ и там заключают в тюрьму, где он подпадает под бесконтрольную власть тюремщика. Там его мучают полтора года, но он все-таки не изменяет своего решения не брать в руки оружия и всем тем, с кем ему приходится быть в сношениях, объясняет, почему он этого не делает, и в конце второго года его отпускают на свободу раньше срока, зачислив, противно закону, содержание в тюрьме за службу, желая только поскорее отделаться от него.

Точно так же, как этот молодой человек, как бы сговорившись, поступают и другие люди в разных концах России, и во всех этих случаях образ действия правительства тот же робкий,

неопределенный и скрытный. Некоторых из таких людей отправляют в сумасшедшие дома, некоторых зачисляют в писаря и переводят на службу в Сибирь, некоторых в лесничество, некоторых запирают в тюрьмы, некоторых штрафуют. И теперь несколько таких отказавшихся сидят по тюрьмам не за сущность дела — за отрицание законности действий правительства, а за неисполнение частных требований начальства. Так, недавно, офицера запаса, не давшего сведения о своем местопребывании и заявившего о том, что он не будет более служить военным, оштрафовали за неисполнение распоряжений власти 30 рублями, которые он тоже отказался заплатить добровольно. Так, недавно несколько крестьян и солдат, отказавшихся участвовать в учении и брать в руки ружье, за неповиновение и возражение посадили под арест.

И случаи отказов этих от исполнения государственных требований, противных христианству, в особенности отказы от военной службы, совершаются в последнее время и не в одной России, а везде. Так, мне известно, что в Сербии люди из так называемой секты назаренов постоянно отказываются от военной службы и австрийское правительство уже несколько лет тщетно борется с ними, подвергая их тюремному заключению. В 1885 году отказов таких было 130. В Швейцарии, я знаю, что в 1890-х годах в Шильонском замке сидели люди за отказ от исполнения воинской повинности, не изменившие вследствие наказания своего решения. Такие же отказы были в Швеции, и точно так же отказывающиеся были заключены в тюрьмы, и правительство старательно скрывало эти случаи от народа. Были такие отказы и в Пруссии. Я знаю про унтер-офицера гвардии, который в 1891 году в Берлине объявил начальству, что он, как христианин, не будет продолжать службу и, несмотря на все увещания, угрозы и наказания, остался при своем решении. Во Франции, на юге ее, возникла в последнее время община людей, носящих название гинчистов, Hinchist (сведения эти взяты из «Peace Herold», 1891 г., июль), члены которой отказываются на основании христианского исповедания от исполнения воинской повинности и сначала зачислялись в госпитали, но теперь, по мере увеличения их, подвергаются наказаниям за неповиновение, но все-таки не берут в руки оружия.

Социалисты, коммунисты, анархисты, с своими бомбами, бунтами и революциями, далеко не так страшны правительствам, как эти разрозненные люди, с разных стран заявляющие свои отказы, — все на основании одного и того же всем знакомого учения. Всякое правительство знает, как и чем защищать себя от революционеров, и имеет на это средства и потому не боится этих внешних врагов. Но что делать правительствам против тех людей, которые обличают бесполезность, излишество и вредность всяких правительств и не борются с ними, а только не нуждаются в них, обходятся без них и потому не хотят участвовать в них?

Революционеры говорят: «Государственное устройство дурно тем-то и тем-то, нужно разрушить его и заменить таким-то и таким-то». Христианин же говорит: «Я ничего не знаю про государственное устройство, про то, насколько оно хорошо или дурно, и не желаю разрушать его именно потому, что не знаю, хорошо ли оно, или дурно, но по этой-то самой причине и не желаю поддерживать его. И не только не желаю, но не могу, потому что то, что требуется от меня, противно моей совести».

Противны же совести христианина все обязанности государственные: и присяга, и подати, и суды, и войско. А на этих самых обязанностях зиждется вся власть государства.

Враги революционные извне борются с правительством. Христианство же вовсе не борется, но изнутри разрушает все основы правительства.

Среди русского народа, в котором, особенно со времени Петра I, никогда не прекращался протест христианства против государства, среди русского народа, в котором устройство жизни таково, что люди общинами уходят в Турцию, в Китай, в необитаемые земли и не только не нуждаются в правительстве, но смотрят на него всегда как на ненужную тяжесть и только переносят его как бедствие, будь оно турецкое, русское или китайское, — среди русского народа в последнее время стали всё чаще и чаще появляться случаи христианского сознательного освобождения отдельных лиц от подчинения себя правительству. И проявления эти особенно страшны правительству теперь тем, что отказывающиеся часто принадлежат не к так называемым низшим, необразованным сословиям, а к людям среднего и высшего образования, и тем, что люди эти объясняют свои отказы уже не какими-либо мистическими исключительными верованиями, как это было прежде, не соединяют их с какими-либо

суевериями и изуверствами, как это делают самосожигатели или бегуны, а причинами своего отказа выставляют самые простые и ясные, всем доступные и всеми признаваемые истины.

Так, отказываются от добровольной уплаты податей, потому что подати употребляются на дела насилия: жалованье начальникам, военным, на устройство тюрем, крепостей, пушек, а они, как христиане, считают грешным и безнравственным участвовать в этих делах. Отказывающиеся от общей присяги отказываются потому, что обещаться в повиновении властям, т. е. людям, предающимся насилиям, противно смыслу христианского учения; отказываются от присяги в судах потому, что клятва прямо запрещена Евангелием. Отказываются от должностей полицейских, потому что при этих должностях приходится употреблять насилие против своих братьев и мучить их, а христианин не может делать этого. Отказываются от участия в суде, потому что считают всякий суд исполнением закона мести, не совместимого с христианским законом прощения и любви. Отказываются от всякого участия в военных приготовлениях и в войске потому, что не хотят и не могут быть палачами и не хотят готовиться к палачеству.

Все мотивы этих отказов таковы, что, как бы самовластны ни были правительства, они не могут открыто наказывать за них. Для того, чтобы наказывать за такие отказы, надо бесповоротно самим правительствам отречься от разума и добра. А они уверяют людей, что властвуют только во имя разума и добра.

Что делать правительствам против этих людей? В самом деле, правительства могут перебить, переказнить, перезапереть по тюрьмам и каторгам навечно всех своих врагов, желающих насилием свергнуть их; могут засыпать золотом половину людей, которые им нужны, и подкупить их; могут подчинить себе миллионы вооруженных людей, готовых погубить всех врагов правительств. Но что могут они сделать против людей, которые, не желая ничего ни разрушать, ни учреждать, желают только для себя, для своей жизни, не делать ничего противного христианскому закону и потому отказываются от исполнения самых общих и потому самых необходимых для правительств обязанностей?

Если бы это были революционеры, проповедующие насилие, убийство и совершающие эти дела, то противодействие им было бы легко: часть их подкупили бы, часть обманули, часть запугали бы; тех же, которых нельзя ни подкупить, ни обмануть, ни запугать, выставили бы злодеями, врагами общества, казнили бы или заперли бы, и толпа одобрила бы действие правительства. Если бы это были какие-нибудь изуверы, проповедующие какую-нибудь особую веру, можно бы было, благодаря тем суевериям лжи, которые примешиваются ими к их учению, опровергнуть и то истинное, что они исповедуют. Но что делать с людьми, которые не проповедуют ни революции, ни каких-либо особенных религиозных догматов, а только потому, что они не желают делать никому зла, отказываются от присяги, уплаты податей, участия в суде, от военной службы, от таких обязанностей, на которых зиждется всё устройство государства? Что делать с такими людьми? Подкупить их нельзя: уже самый тот риск, на который они добровольно идут, показывает их бескорыстие. Обмануть тем, что этого требует Бог, тоже нельзя, потому что их отказ основан на ясном, несомненном законе Бога, исповедуемом и теми, которые хотят заставить людей действовать противно ему. Запугать угрозами еще менее можно, потому что лишения и страдания, которым они будут подвергнуты за их исповедание, только усиливают их желание исповедания и в их законе прямо сказано, что надо повиниться Богу более, чем людям, и не надо бояться тех, которые могут погубить тело, а того, что может погубить и тело и душу. Казнить или навечно запереть их тоже нельзя. У людей этих есть прошедшее, друзья, образ мыслей и действий их известен, все их знают за кротких, добрых, смиренных людей, и невозможно выставить их злодеями, которые должны быть устранены для спасения общества. А казнь людей, признаваемых всеми добрыми, вызовет защитников, разъяснителей отказа. А стоит только разъясниться причинам отказа, для того чтобы всем стало ясно, что те причины, по которым эти христиане отказываются от исполнения государственных требований, таковы же для всех других людей и что всем уже надо бы делать то же.

Правительства перед отказами христиан находятся в отчаянном положении. Они видят, что пророчество христианства сбывается, — оно разрывает узы скованных и освобождает людей, находящихся в неволе, и видят, что это освобождение неизбежно должно уничтожить тех, которые держат других в неволе. Правительства видят это, знают, что часы их сочтены, и



ничего не могут сделать. Всё, что они могут сделать для своего спасения, это только то, чтобы отсрочить час своей гибели. Они и делают это, но положение их все-таки отчаянное.

Положение правительств подобно положению завоевателя, который желает сохранить город, поджигаемый самими жителями. Только что он потушит пожар в одном месте, загорается в двух других; только что он уступает огню, отломает то, что загорелось, от большого здания, — загорается с двух концов и это здание. Загорания эти еще редки, но загораются они огнем, который, начавшись с искры, не остановится до тех пор, пока не сожжет всего.

И вот тут-то, когда правительства перед людьми, исповедующими христианство, находятся в таком беззащитном положении и недостает только очень малого для того, чтобы рушилась вся эта кажущаяся столь могущественной и столькими веками воздвигавшаяся сила, тут-то общественные деятели проповедуют то, что не только не надо, но вредно, безнравственно даже каждому отдельно освобождаться от рабства. Вроде того, как если бы одни люди, чтобы освободить задержанную в реке воду, долго работая, прокопали бы уже всю канаву и им нужно бы было только открыть отверстие, чтобы вода сама устремила и сделала остальное, и тут-то пришли бы другие люди и стали бы советовать, что гораздо лучше, вместо того чтобы спускать воду, устроить над рекой такую машину с черпаками, которые, вычерпывая воду с одной стороны, переливали бы ее с другой в тот же пруд.

Но дело зашло уже слишком далеко: правительства чувствуют уже свою беззащитность и слабость, и пробуждающиеся от усыпления люди христианского сознания уже начинают чувствовать свою силу.

«Огонь принес я на землю, — сказал Христос, — и как томлюсь, когда он возгорится».

И огонь этот начинает возгораться.

## Х

Христианство в его истинном значении разрушает государство. Так оно было понято и с самого начала, за то был и распят Христос, и всегда так понималось людьми, не связанными необходимостью оправдания христианского государства. Только со времени принятия главами государств номинального внешнего христианства начали придумываться все те невозможные хитросплетенные теории, по которым христианство можно совместить с государством. Но для каждого искреннего и серьезного человека нашего времени не может не быть очевидной несовместимость истинного христианства — учения смирения, прощения обид, любви — с государством, с его величием, насилиями, казнями и войнами. Исповедание истинного христианства не только исключает возможность признания государства, но и разрушает основы его.

Но если так и справедливо то, что христианство несовместимо с государством, то, естественно, является вопрос: что нужнее для блага человечества, что больше обеспечивает благо людей: государственная форма жизни или разрушение и замена ее христианством?

Одни люди говорят, что нужнее для человечества государство, что уничтожение государственной формы повлекло бы за собой уничтожение всего того, что выработало человечество, что государство как было, так и продолжает быть единственной формой развития человечества и что всё то зло, которое мы видим среди народов, живущих в государственной форме, происходит не от этой формы, а от злоупотреблений, которые могут быть исправлены без уничтожения, и что человечество, не нарушая государственной формы, может развиваться и прийти до высокой степени благосостояния. И люди, думающие так, приводят в подтверждение своего мнения кажущиеся им неопровержимыми и философские, и исторические, и даже религиозные доводы. Но есть люди, полагающие обратное, именно то, что, так как было время, когда человечество жило без государственной формы, то форма эта временная и должно наступить время, когда людям понадобится новая форма, и что время это наступило теперь. И люди, думающие так, приводят в подтверждение своего мнения кажущиеся им тоже неопровержимыми и философские, и исторические, и религиозные доводы.

Можно написать томы в защиту первого мнения (они уже и давно написаны и всё еще пишутся), но можно написать (и тоже, хотя и недавно, но много и блестяще написано) и многое против него.

И нельзя доказать ни того, как это утверждают защитники государства, что уничтожение государства повлечет за собой общественный хаос, взаимные грабежи, убийства и уничтожение всех общественных учреждений и возвращение человечества к варварству; ни того, как это утверждают противники государства, что люди уже стали настолько разумны и добры, что не грабят и не убивают друг друга, предпочитают мирное общение вражде, что сами без помощи государства учредят всё то, что им будет нужно, а что поэтому государство не только не содействует всему этому, а, напротив, под видом ограждения людей производит на них вредное и ожесточающее влияние. Нельзя доказать отвлеченными рассуждениями ни того, ни другого. Еще меньше можно доказать это опытом, так как вопрос состоит в том, следует или не следует делать опыт. Вопрос о том, наступило или не наступило время упразднения государства, был бы неразрешимым, если бы не существовал другой жизненный способ неоспоримого решения его.

Совершенно независимо от чьего бы то ни было суждения о том, созрели ли птенцы гнезда настолько, чтобы согнать наседку и выпустить из яиц птенцов, или еще не созрели для этого, неоспоримым решителем вопроса будут птенцы, когда они уже, не уместаясь более в яйцах, начнут пробивать их клювом и сами выходить из них.

То же с вопросом о том, наступило ли или не наступило для людей время уничтожения государственной формы и замены ее новой. Если человек, вследствие выросшего в нем высшего сознания, не может уже более исполнять требований государства, не уместается уже более в нем и вместе с тем не нуждается более в ограждении государственной формой, то вопрос о том, созрели ли люди до отмены государственной формы или не созрели, решается совсем с другой стороны и так же неоспоримо, как и для птенца, вылупившегося из яйца, в которое уже никакие силы мира не могут вернуть его, — самими людьми, выросшими уже из государства и никакими силами не могущими быть возвращенными в него.

«Очень может быть, что государство было нужно и теперь нужно для всех тех целей, которые вы приписываете ему, — говорит человек, усвоивший христианское жизнепонимание, — знаю только то, что, с одной стороны, мне не нужно более государство, с другой — я не могу более совершать те дела, которые нужны для существования государства. Устраивайте для себя то, что нужно вам для вашей жизни, я не могу доказывать ни общей необходимости, ни общего вреда государства, я знаю только то, что мне нужно и не нужно, что мне можно и нельзя. Я знаю про себя, что мне не нужно отделение себя от других народов, и потому я не могу признавать своей исключительной принадлежности к какому-либо народу и государству и подданства какому-либо правительству; знаю про себя, что мне не нужны все те правительственные учреждения, которые устраиваются внутри государств, и потому я не могу, лишая людей, нуждающихся в моем труде, отдавать его в виде подати на ненужные мне и, сколько я знаю, вредные учреждения: я знаю про себя, что мне не нужны ни управления, ни суды, производимые насильем, и потому я не могу участвовать ни в том, ни в другом; я знаю про себя, что мне не нужно ни нападать на другие народы, убивая их, ни защищаться от них с оружием в руках, и потому я не могу участвовать в войнах и приготовлениях к ним. Очень может быть, что есть люди, которые не могут не считать всего этого нужным и необходимым, я не могу спорить с ними, я знаю только про себя, зато несомненно знаю, что мне этого не нужно и что я этого не могу делать. И не нужно это мне, и не могу я этого делать не потому, что мне, моей личности так хочется, а потому, что этого не хочет тот, кто послал меня в жизнь и дал мне несомненный закон для руководства в этой жизни».

Какие бы доводы ни приводили люди в пользу того, что вредно упразднить государственную власть и что упразднение это может породить бедствия, люди, выросшие уже из государственной формы, уже не могут вписаться в ней. И, сколько бы и какие бы доводы ни приводили человеку, выросшему из государственной формы, о необходимости ее, он не может вернуться к ней, не может принимать участия в делах, отрицаемых его сознанием, как не могут выросшие птенцы вернуться в скорлупу, из которой они выросли.

«Но если это и так, — говорят защитники существующего строя, — то все-таки упразднение государственного насилия возможно и желательно бы было тогда, когда бы все люди стали христианами. До тех пор, пока этого нет, пока среди людей, только называющихся христианами, есть люди нехристиане, люди злые, для своей личной похоти готовые нанести вред другим, упразднение государственной власти не только не было бы благом для остальных

людей, но только увеличило бы их бедствие. Упразднение государственной формы жизни нежелательно не только тогда, когда будет малая часть истинных христиан, но оно нежелательно даже тогда, когда все будут христианами, но в среде их или вокруг их, в других народах, останутся нехристиане, потому что нехристиане будут безнаказанно грабить, насиловать, убивать христиан и сделают их жизнь мучительной. Будет только то, что злые будут безнаказанно властвовать над добрыми и насиловать их. И потому государственная власть не должна быть упразднена до тех пор, пока не уничтожатся все злые, хищные люди на свете. А так как это, если не никогда, то еще долго не может быть, то, несмотря на попытки освобождения отдельных христиан от государственной власти, власть эта для большинства людей должна быть поддерживаема». Так говорят защитники государства. «Без государства злые насилуют добрых и властвуют над ними. Государственная же власть дает возможность добрым удерживать злых», — говорят они.

Но, утверждая это, защитники существующего строя уже вперед решают справедливость того положения, которое им нужно доказать. Говоря то, что без государственной власти злые властвовали бы над добрыми, они считают доказанным то, что добрые — это те самые, которые в настоящее время обладают властью, и злые — те самые, которые покоряются. Но ведь это-то самое и надо доказать. Ведь это было бы справедливо только тогда, когда бы в нашем мире происходило то, что хоть и не происходит, но предполагается в Китае, именно то, что властвуют всегда добрые и что, как скоро во главе правительства стоят не более добрые, чем те, над которыми они властвуют, то граждане обязаны свергать их. Так это предполагается в Китае, в действительности же этого нет и не может быть, потому что для того, чтобы свергнуть власть насилующего правительства, мало иметь на это право, надо иметь силу. Так что и в Китае это только предполагается. Но в нашем христианском мире это даже никогда и не предполагалось. В нашем мире нет даже никакого основания предполагать, чтобы властвовали более добрые или лучшие, а не те, которые захватывали власть и удерживали ее для себя и для своих наследников. Захватывать же и удерживать власть никак не могут более добрые.

Для того, чтобы приобрести власть и удерживать ее, нужно любить власть. Властолюбие же соединяется не с добротой, а с противоположными доброте качествами: с гордостью, хитростью, жестокостью.

Без возвеличивания себя и унижения других, без лицемерия, обманов, без тюрем, крепостей, казней, убийств не может ни возникнуть, ни держаться никакая власть.

«Если упразднить государственную власть, то более злые будут властвовать над менее злыми», — говорят защитники государственности. Но если египтяне покорили евреев, персы покорили египтян, македонцы покорили персов, римляне покорили греков, варвары покорили римлян, то неужели все те, которые покоряли, были более добры, чем те, кого они покоряли?

И точно так же в переходах власти в одном государстве от одних лиц к другим разве всегда власть переходила к более добрым? Когда свергнут был Людовик XVI-ый и во власть вступил Робеспьер и потом Наполеон, кто властвовал? Более добрые или более злые? И когда властвовали более добрые: когда версальцы или коммунары были во власти? Или когда во главе правительства был Карл I или Кромвель? И когда царем был Петр III или когда его убили и царицей стала в одной части России Екатерина, а в другой — Пугачев. Кто тогда был злой, кто добрый?

Все люди, находящиеся во власти, утверждают, что их власть нужна для того, чтобы злые не насилуют добрых, подразумевая под этим то, что они-то и суть те самые добрые, которые ограждают других добрых от злых.

Но ведь властвовать значит насиловать, насиловать значит делать то, чего не хочет тот, над которым совершается насилие, и чего, наверное, для себя не желал бы тот, который совершает насилие; следовательно, властвовать значит делать другому то, чего мы не хотим, чтобы нам делали, т. е. делать злое.

Покоряться значит предпочитать терпение насилию. Предпочитать же терпение насилию значит быть добрым или хоть менее злым, чем те, которые делают другим то, что не желают себе.

И потому все вероятия за то, что властвовали всегда и теперь властвуют не более добрые, а, напротив, более злые, чем те, над которыми они властвуют. Могут быть злые и среди тех,

которые подчиняются власти, но не может быть того, чтобы более добрые властвовали над более злыми.

Этого нельзя было предполагать при языческом неточном определении добра; при христианском же ясном и точном определении добра и зла этого уже никак нельзя думать. Если более или менее добрые, более или менее злые могут не различаться в языческом мире, то христианское понятие о добром и злом так ясно определило признаки добрых и злых, что их нельзя уже смешивать. По учению Христа, добрые — это те, которые смиряются, терпят, не противятся злу насилием, прощают обиды, любят врагов; злые — это те, которые величаются, властвуют, борются и насилуют людей, и потому, по учению Христа, нет сомнения о том, где добрые среди властвующих покоряющихся и где злые среди покоряющихся или властвующих. Даже как-то смешно говорить о властвующих христианах.

Нехристиане, т. е. те, которые полагают свою жизнь в мирском благе, всегда и должны властвовать над христианами, теми, которые полагают свою жизнь в отречении от этих благ.

И так это всегда было и становилось всё определеннее и определеннее по мере распространения и уяснения христианского учения.

Чем более распространялось и входило в сознание людей истинное христианство, тем менее возможно было христианам быть среди властвующих и тем легче становилось нехристианам властвовать над христианами.

«Устранение государственного насилия в том случае, если в обществе не все люди стали истинными христианами, сделает только то, что злые будут властвовать над добрыми и безнаказанно насиловать их!» — говорят защитники существующего строя жизни.

«Злые будут властвовать над добрыми и насиловать их». Да ведь другого никогда ничего не было и не может быть. Так всегда было с начала мира и так это до сих пор. Злые всегда властвуют над добрыми и всегда насилуют их. Каин насилует Авеля, хитрый Иаков властвовал над доверчивым Исавом, обманувший его Лаван над Иаковым, Каиафа и Пилат властвовали над Христом, римские императоры властвовали над Сенеками, Эпиктетами и добрыми римлянами, жившими в их время, Иоанн IV с своими опричниками, пьяный сифилитик Петр со своими шутами, блудница Екатерина со своими любовниками властвовали над трудолюбивыми религиозными русскими людьми своего времени и насилуют их. Вильгельм властвует над немцами. Стамбулов над болгарами, русские чиновники над русским народом. Немцы властвовали над итальянцами, теперь властвуют над венгерцами и славянами; турки властвовали и властвуют над славянами и греками; англичане властвуют над индейцами, монголы над китайцами.

Так что будет или не будет упразднено государственное насилие, положение людей добрых, насилуемых людьми злыми, от этого не изменится.

Пугать людей тем, что злые будут властвовать над добрыми, никак нельзя, потому что то, чем пугают, есть то самое, что всегда было, и есть, и не может быть иначе.

Вся языческая история человечества состоит только из тех событий, посредством которых более злые захватывали власть над менее злыми и, захватив ее, жестокостями и хитростями поддерживали ее, и выставляя себя блюстителями справедливости, защитниками добрых от злых, властвовали над добрыми. Все перевороты в истории суть только захватывания власти более злыми и властвование над добрыми. То, что властвующие говорят, что если не было бы их власти, то более злые стали бы насиловать добрых, означает только то, что насильники, находящиеся во власти, не хотят уступить этой власти другим насильникам, которые хотели бы отнять ее у них. Говоря же это, властвующие только обличают самих себя. Они говорят, что их власть, т. е. насилие, нужно для того, чтобы защищать людей от каких-то других или имеющих еще проявиться насильников<sup>8</sup>.

Тем-то и опасно употребление насилия, что как скоро оно употреблено, так все доводы,

8 Поразительно в этом отношении до комизма наивное утверждение русских властей, насилующих чужие народности: поляков, остзейских немцев, евреев. Русское правительство душил своих подданных, веками не заботилось ни о малороссах в Польше, ни о латышах в остзейском крае, ни о русских мужиках, эксплуатируемых всеми возможными людьми, и вдруг оно становится защитником угнетенных от угнетателей, тех самых угнетателей, которых оно само угнетает.

которые за себя приводят насильники, не только с тем же, но с большим основанием могут быть приведены против них же. Они говорят о бывшем и чаще всего о воображаемом будущем насилии, а сами, не переставая, совершают действительное насилие. «Вы говорите, что люди прежде грабили и били, и вы боитесь, что ограбят и перебьют друг друга, если не будет вашей власти. Это может быть, может и не быть, но то, что вы губите тысячи людей в тюрьмах, каторгах, крепостях, ссылках, разоряете миллионы семей и губите в солдатстве физически и нравственно миллионы людей, — это не предполагаемое, а действительное насилие, против которого, по вашему же рассуждению, должно бороться насилем. И потому те злые, против которых, по вашему же рассуждению, несомненно нужно употреблять насилие, — это вы сами», — должны сказать насильникам насилуемые люди. И люди нехристиане всегда и говорят, и думают, и поступают так. Если насилуемые более злы, чем те, которые насилуют их, то они нападают на них и стараются свергнуть и при удобных обстоятельствах свергают их, или, что самое обыкновенное, вступают в ряды насилующих и участвуют в их насилиях.

Так что то самое, чем защитники государственности пугают людей, тем, что если бы не было насилующей власти, то злые властвовали бы над добрыми, это-то самое, не переставая, совершалось и совершается в жизни человечества, а потому упразднение государственного насилия не может ни в каком случае быть причиной увеличения насилия злых над добрыми.

Если насилие правительственное уничтожится, то насилия будут совершаться, может быть, другими людьми, а не теми, которыми они совершались прежде; но сумма насилия ни в каком случае не может увеличиться оттого, что власть перейдет от одних людей к другим.

«Государственное насилие может быть прекращено только тогда, когда уничтожатся злые люди среди общества», — говорят защитники существующего строя, подразумевая под этим то, что так как злые люди всегда будут, то насилие никогда не прекратится. И это было бы справедливо, но только тогда, когда было бы то, что ими предполагается, — именно, что насилующие суть более добрые и что единственное средство избавления людей от зла есть насилие. Тогда, точно, насилие никогда не могло бы прекратиться. Но так как этого нет, а есть обратное, именно, что не более добрые насилуют злых, а более злые насилуют добрых и что кроме насилия, никогда не прекращающего зла, есть другое средство уничтожения насилия, то утверждение о том, что насилие никогда не прекратится, несправедливо. Насилие уменьшается и уменьшается и, очевидно, должно прекратиться, но не так, как представляют это себе некоторые защитники существующего строя, тем, что люди, подлежащие насилию, вследствие воздействия на них правительств, будут делаться всё лучше и лучше (вследствие этого они, напротив, становятся всегда хуже), а вследствие того, что так как все люди постоянно становятся лучше и лучше, то и наиболее злые люди, находящиеся во власти, становясь всё менее и менее злыми, сделаются уже настолько добры, что станут неспособны употреблять насилие.

Движение вперед человечества совершается не так, что лучшие элементы общества, захватив власть, употребляя насилие против тех людей, которые находятся в их власти, делают их лучшими, как это думают и консерваторы и революционеры, а совершается, во-первых, и главное, тем, что люди все вообще неуклонно и безостановочно, более и более сознательно усваивают христианское жизнепонимание, и, во-вторых, тем, что, даже независимо от сознательной духовной деятельности людей, люди бессознательно вследствие самого процесса захватывания власти одними людьми и смены их другими, невольно приводятся к более христианскому отношению к жизни. Процесс этот совершается так, что худшие элементы общества, захвативши власть и находясь в обладании ею, под влиянием отрезвляющего свойства, всегда сопутствующего ей, становясь сами всё менее и менее жестокими, делаются неспособными употреблять жестокие формы насилия и вследствие того уступают свое место другим, над которыми совершается опять тот же процесс смягчения и, как бы сказать, бессознательного охристианения.

С людьми совершается нечто подобное процессу кипения. Все люди большинства нехристианского жизнепонимания стремятся к власти и борются, достигая ее. В борьбе этой наиболее жестокие, грубые, наименее христианские элементы общества, насилуя наиболее кротких, чутких к добру, наиболее христианских людей, выступают посредством своего насилия в верхние слои общества. И тут над людьми, находящимися в этом положении, совершается то,

что предсказывал Христос, говоря: «Горе вам, богатым, пресыщенным, прославленным»; совершается то, что люди, находясь во власти и в обладании последствий власти — славы и богатства, доходя до известных различных, поставленных ими самими себе в своих желаниях целей, познают тщету их и возвращаются к тому положению, из которого вышли. Карл V, Иоанн IV, Александр I, познав всю тщету и зло власти, отказывались от нее, потому что видели уже всё зло ее и были не в силах спокойно пользоваться насилием как добрым делом, как они делали это прежде.

Но не одни Карлы и Александры проходят этот путь и признают тщету и зло власти: через этот бессознательный процесс смягчения проходит всякий человек, приобретший ту власть, к которой он стремился, всякий, не только министр, генерал, миллионер, купец, но столоначальник, добившийся места, которого он желал десять лет, всякий богатый мужик, отложивший одну-другую сотню рублей.

Через этот процесс проходят не только отдельные люди, но и совокупности людей, целые народы.

Соблазны власти и всего того, что она дает, и богатства, почестей, роскошной жизни, представляются достойной целью деятельности людей только до тех пор, пока она не достигнута, но тотчас, как скоро человек достигает их, обличают свою пустоту и теряют понемногу свою притягательную силу, как облака, которые имеют форму и красоту только издали: стоит только вступить в них, чтобы исчезло всё то, что казалось в них прекрасным.

Люди, овладевшие властью и богатством, иногда те самые, которые приобретали власть и богатство, большею же частью наследники их, перестают уже быть столь жадными к власти и жестокими к приобретению ее.

Изведав опытом, под влиянием христианского воздействия, тщету плодов насилия, люди иногда в одном, иногда через несколько поколений утрачивают те пороки, которые возбуждаются страстью к приобретению власти и богатства, и, становясь менее жестокими, не удерживают своего положения и вытесняются из власти другими, менее христианскими, более злыми людьми и возвращаются в низшие по положению, но высшие по нравственности слои общества, увеличивая собой средний уровень христианского сознания всех людей. Но тотчас же после них опять худшие, грубейшие, менее христианские элементы общества поднимаются вверх, подвергаются вновь тому же процессу, как и их предшественники, и опять через одно или несколько поколений, изведав тщету плодов насилия и пропитавшись христианством, спускаются в среду насилуемых и опять заменяются новыми, менее грубыми, чем прежние, насильниками, но более грубыми, чем те, которых они насилуют. Так что, несмотря на то, что власть остается такую же, какою она была, по внешней форме, с каждой переменой людей, находящихся во власти, всё больше и больше увеличивается число людей, опытом жизни приводимых к необходимости усвоения христианского жизнепонимания, и с каждой переменой, хотя самые грубые и жестокие, менее христианские из всех и всё менее и менее грубые и жестокие и более христианские люди, чем прежде бывшие во власти, вступают в обладание властью.

Насилие выбирает и привлекает к себе худшие элементы общества, перерабатывает их и, улучшая и смягчая, возвращает их назад обществу.

Таков процесс, посредством которого христианство, несмотря на употребляемое государственной властью насилие, препятствующее движению вперед человечества, всё более и более охватывает людей. Христианство проникает в сознание людей не только несмотря на употребляемое властью насилие, но посредством его.

И потому утверждение защитников государственного строя о том, что если упразднить государственное насилие, то злые будут властвовать над добрыми, не только не доказывает того, чтобы это (властвование злых над добрыми) было опасно, так как это самое и происходит, но, напротив, доказывает то, что государственное насилие, дающее возможность злым властвовать над добрыми, и есть то зло, которое желательно уничтожить и которое постоянно уничтожается самою жизнью.

«Но если бы и было справедливо то, что государственное насилие прекратится тогда, когда обладающие властью настолько станут христианами, что сами откажутся от нее, и не найдется более людей, готовых занять их места, и справедливо, что процесс этот совершается, — говорят

защитники существующего порядка, — то когда же это будет? Если прошло 1800 лет и всё еще так много охотников властвовать и так мало охотников подчиняться, то нет никакого вероятия, чтобы это не только случилось очень скоро, а случилось бы и когда-нибудь».

«Если и есть, как и бывали прежде среди всех людей, такие, которые предпочитают отказ от власти пользованию ею, то запас людей, предпочитающих властвование подчинению, так велик, что трудно представить себе время, когда бы он мог истощиться».

«Для того, чтобы произошел этот процесс охристианения всех людей, чтобы все люди одни за другими перешли от языческого непонимания к христианскому и добровольно отказывались бы от власти и богатства и никто бы не желал пользоваться ими, нужно, чтобы не только переделались в христианство все те грубые, полудикие, совершенно не способные воспринять христианство и следовать ему люди, которых всегда много среди каждого христианского общества, но и все дикие и вообще нехристианские народы, которых еще так много вне его. А потому, если и допустить даже, что процесс охристианения когда-нибудь совершится над всеми людьми, то, судя по тому, насколько подвинулось это дело в 1800 лет, это будет только через несколько раз 1800 лет, а потому и нельзя и незачем думать теперь о невозможном уничтожении власти, а нужно только стараться о том, чтобы власть эта была в наилучших руках».

Так возражают защитники существующего строя. И рассуждение это было бы совершенно справедливо, если бы переход людей от одного понимания жизни к другому совершался посредством только одного того процесса, при котором каждый человек отдельно и один за другим познает опытом тщету власти и внутренним путем постигает истины христианские.

Процесс этот совершается непрерывно, и люди один за другим переходят этим путем на сторону христианства.

Но переходят люди на сторону христианства не одним только этим внутренним способом, а еще и другим, внешним способом, при котором уничтожается постепенность этого перехода.

Переход людей от одного устройства жизни к другому совершается не постоянно так, как пересыпается песок в песочных часах: песчинка за песчинкой от первой до последней, а скорее так, как вливается вода в опущенный в воду сосуд, который сначала только одной стороной медленно и равномерно впускает в себя воду, а потом от тяжести уже влившейся в него воды вдруг быстро погружается и почти сразу принимает в себя всю ту воду, которую он может вместить.

То же происходит и с обществами людей при переходе от одного понимания, а потому и устройства жизни, к другому. Люди только сначала постепенно и равномерно один за другим воспринимают новую истину внутренним путем и следуют ей в жизни; при известном же распространении истины она усваивается ими уже не внутренним способом, не равномерно, а сразу, почти невольно.

И потому несправедливо рассуждение защитников существующего строя о том, что если в продолжение 1800 лет только малая часть людей перешла на сторону христианства, то нужно еще несколько раз 1800 лет до тех пор, пока все остальные люди перейдут на его сторону, — несправедливо оно потому, что при этом рассуждении не принимается во внимание другой, кроме внутреннего постигновения истины, способ усвоения людьми новой истины и перехода от одного склада жизни к другому.

Другой этот способ усвоения людьми новой открывшейся истины и переход к новому устройству жизни состоит в том, что люди усваивают истину не только потому, что они познают ее пророческим чувством или опытом жизни, а потому еще, что при известной степени распространения истины люди, стоящие на низшей степени развития, принимают ее все сразу, по одному доверию к тем, которые приняли ее внутренним способом и прилагают ее к жизни.

Всякая новая истина, изменяющая склад человеческой жизни и двигающая вперед человечество, воспринимается сначала только самым малым количеством людей, понимающих ее внутренним путем. Остальные же люди, принявшие по доверию предшествующую истину, ту, на которой основан существующий строй, всегда противятся распространению новой истины.

Но так как, во-первых, люди не стоят на месте, а непрерывно движутся, всё более и более познавая истину и приближаясь к ней своею жизнью, и, во-вторых, все они по своему возрасту,

воспитанию, породе расположены в постепенной градации от людей, наиболее способных понимать новые открывающиеся истины внутренним путем, до людей, наименее способных к этому, то люди, ближе других стоящие к тем, которые усвоили истину внутренним способом, одни за другими сначала через длинные промежутки времени, а потом всё чаще и чаще переходят на сторону новой истины, и количество людей, признающих новую истину, становится всё больше и больше, и истина становится всё понятнее, и понятнее.

А чем больше людей усваивают новую истину и чем истина понятнее, тем более возбуждается доверие в остальных, на низшей степени по способности понимания стоящих людей, и тем легче для них становится постигновение ее и тем большее число усваивает ее. И так идет движение, всё убыстряясь и убыстряясь, расширяясь и расширяясь, как ком снега, до тех пор, пока не зарождается при этом согласное с новой истиной общественное мнение и вся остальная масса людей уже не поодиночке, а вся сразу под давлением этой силы не переходит на сторону новой истины и не устанавливается сообразный с этой истиной новый склад жизни.

Люди, переходящие на сторону новой, дошедшей до известной степени распространения, истины, переходят на ее сторону всегда сразу, массами и подобны тому балласту, которым нагружают всегда сразу для устойчивого уравновесия и правильного хода всякое судно. Не будь балласта, судно не сидело бы в воде и изменяло бы свое направление при малейшем изменении условий. Балласт этот, несмотря на то, что он кажется сначала излишним и даже задерживающим ход судна, есть необходимое условие правильного движения его.

То же и с той массой людей, которая всегда не один по одному, а всегда сразу под влиянием нового общественного мнения переходит от одного устройства жизни к другому. Масса эта всегда своей инертностью препятствует быстрым, не проверенным мудростью людской, частым переходам от одного устройства жизни к другому и надолго удерживает всякую долгим опытом борьбы проверенную, вошедшую в сознание человечества истину.

И потому несправедливо рассуждение о том, что если только малая, самая малая часть человечества усвоила христианскую истину в продолжение 18 веков, то всё человечество усвоит ее только через много, много раз 1800 лет, т. е. так еще не скоро, что нам, живущим теперь, нельзя и думать об этом. Несправедливо потому, что люди, стоящие на низшей степени развития, те самые народы и люди, которых защитники существующего строя представляют помехой для осуществления христианского строя жизни, это самые те люди, которые всегда сразу массами переходят на сторону истины, принятой общественным мнением.

И потому перемена в жизни человечества та, вследствие которой люди, пользующиеся властью, откажутся от нее и из людей, покоряющихся власти, не найдется более людей, желающих захватить ее, наступит не тогда только, когда все люди один по одному до последнего сознательно усвоят христианское жизнепонимание, а тогда, когда возникнет такое определенное и всем понятное христианское общественное мнение, которое покорит себе всю ту инертную массу, не способную внутренним путем усвоить истины и по этому самому всегда подлежащую воздействию общественного мнения.

Общественное же мнение не нуждается для своего возникновения и распространения в сотнях и тысячах лет и имеет свойство заразительно действовать на людей и с большою быстротою охватывать большие количества людей.

«Но если даже и справедливо, — скажут защитники существующего строя, — то, что общественное мнение, при известной степени своей определенности и ясности, может заставить инертную массу людей внехристианских обществ — нехристианские народы — и людей испорченных и грубых, живущих среди обществ, подчиниться ему, то какие признаки того, что это христианское общественное мнение возникло и может заменить действие насилия?»

«Нельзя рисковать, отбросив насилие, которым поддерживается существующий порядок, положиться на неосязаемую и неопределенную силу общественного мнения, предоставив диким людям вне и внутри обществ безнаказанно грабить, убивать и всячески насиловать христиан».

«Если с помощью власти мы насилу отливаемся от нехристианских элементов, готовых всегда залить нас и уничтожить все успехи христианской цивилизации, то есть ли, во-первых, вероятность того, чтобы общественное мнение могло заменить эту силу и обеспечить нас, а



во-вторых, как найти тот момент, в который общественное мнение стало настолько сильно, что может заменить власть? Отменить власть и положиться для защиты себя на одно общественное мнение значило бы поступить так же безумно, как поступил бы человек в зверинце, который, отбросив оружие, выпустил бы из клеток всех львов и тигров, положившись на то, что звери в клетках и под раскаленными прутьями казались смиренными».

«И потому люди, имеющие власть, поставленные судьбою или Богом в положение властвующих, не имеют права рисковать погибелью всех успехов цивилизации только потому, что они пожелают сделать опыт о том, может или не может общественное мнение заменить ограждение власти, а потому и не должны прекращать насилия».

Французский забытый теперь писатель Alphonse Carré сказал где-то, доказывая невозможность уничтожения смертной казни: «Пусть господа убийцы сначала подадут нам пример». И много раз я потом слышал повторение этой шутки людьми, которым казалось, что этими словами выражен убедительный и остроумный довод против уничтожения смертной казни. А между тем нельзя яснее выразить всю ложь довода тех, которые считают, что нельзя правительствам отменить насилие до тех пор, пока люди способны к нему, как именно этой шуткой.

«Пусть, — говорят защитники правительственного насилия, — убийцы покажут нам пример, отменив смертоубийство, тогда и мы отменим его». Но убийцы говорят то же самое, но только с гораздо большим правом. Убийцы говорят: «Пускай те, которые взялись учить нас и руководить нами, покажут нам пример отменения смертоубийства, тогда и мы последуем ему». И они говорят это не для шутки, а серьезно, потому что действительно таково положение дела.

«Мы не можем прекратить насилие, потому что мы окружены насильниками».

Ничто более этого ложного рассуждения не препятствует в наше время движению вперед человечества и установлению среди него того строя жизни, который свойствен уже его теперешнему сознанию.

Люди, обладающие властью, уверены в том, что движет и руководит людьми только насилие, и потому для поддержания существующего порядка смело употребляют насилие. Существующий же порядок держится не насилием, а общественным мнением, действие которого нарушается насилием.

И потому деятельность насилия ослабляет, нарушает то самое, что она хочет поддерживать.

Насилие всегда, в лучшем случае, если оно не преследует одних личных целей людей, находящихся во власти, отрицает и осуждает в одной неподвижной форме закона то, что большею частью уже гораздо прежде отрицалось и осуждалось общественным мнением, но с тою разницею, что, тогда как общественное мнение отрицает и осуждает все поступки, противные нравственному закону, захватывая поэтому в свое осуждение самые разнообразные положения, закон, поддерживаемый насилием, осуждает и преследует только известный, очень узкий ряд поступков, этим самым как бы оправдывая все поступки такого же порядка, не вошедшие в его определение. Общественное мнение уже со времени Моисея считает корыстолюбие, распутство и жестокость злом и осуждает их. И оно отрицает и осуждает всякого рода проявления корыстолюбия — не только приобретение чужой собственности насилием, обманом, хитростью, но и жестокое пользование ею; осуждает всякого рода распутство, будь то блуд с наложницей, невольницей, разведенной женой и даже своей; осуждает всякую жестокость, выражающуюся в побоях, в дурном содержании, в убийстве не только людей, но и животных. Закон же, основанный на насилии, преследует только известные виды корыстолюбия, как-то: воровство, мошенничество и известные виды распутства и жестокости, как-то: нарушение супружеской верности, убийства, увечья, — вследствие этого как бы разрешая все те проявления корыстолюбия, распутства и жестокости, которые не подходят под его узкое, подверженное лжетолкованиям определение.

Но мало того, что насилие извращает общественное мнение, оно производит в людях еще то пагубное убеждение, что движутся люди не духовной силой, влекущей их к постигновению истины и осуществлению ее той духовной силой, которая составляет источник всякого движения вперед человечества, а насилием, — тем самым действием, которое не только не приближает людей к истине, но всегда удаляет их от нее. Заблуждение это пагубно тем, что оно

заставляет людей, пренебрегая основной силой своей жизни — своей духовной деятельностью, — переносить всё свое внимание и энергию на деятельность насилия, поверхностную, праздную и большею частью вредную.

Заблуждение это подобно тому, в котором бы находились люди, желавшие заставить двигаться паровоз тем, что они руками вертели бы колеса его, не догадываясь о том, что основная причина движения его есть расширение пара, а не движение колес. Люди, которые стали бы руками и рычагами вертеть колеса, только вызвали бы подобие движения, а между тем изогнули бы колеса, помешав этим возможности настоящего движения.

То же делают люди, думающие посредством внешнего насилия двигать людьми.

Люди говорят, что христианская жизнь без насилия не может установиться потому, что есть дикие народы внехристианского общества — в Африке, в Азии (некоторые такую угрозою нашей цивилизации представляют китайцев), и есть такие дикие, испорченные и, по новой теории наследственности, прирожденные преступники среди христианских обществ, и что для удержания тех и других людей от разрушений нашей цивилизации необходимо насилие.

Но те дикие люди и вне и внутри обществ, которыми мы пугаем себя и других, никогда не покорялись насилию, не покорены им и теперь.

Народы никогда не покоряли себе других народов одним насилием. Если народ, покорявший другой, стоял на низшей степени развития, то всегда повторялось то, что он не вводил насилием своего устройства жизни, а, напротив, всегда сам подчинялся тому устройству жизни, которое существовало в покоренном народе. Если чем покорен или близок к покорению какой-либо из подавляемых силою народов, то только общественным мнением, а никак не насилием, которое, напротив, всё больше и больше возмущает народ.

Если покорялись когда люди целыми народами новому религиозному исповеданию и целыми народами крестились или переходили в магометанство, то совершались эти перевороты не потому, что их принуждали к этому люди, обладающие властью (насилие, напротив, чаще в обратную сторону поощряло эти движения), а потому, что принуждало их к этому общественное мнение. Народы же, которые силою принуждались к принятию вер победителей, никогда не принимали их.

То же и по отношению тех диких элементов, живущих среди обществ: ни увеличение, ни уменьшение строгости наказаний, ни изменение тюрем, ни увеличение полиции не уменьшают и не увеличивают количества преступлений, — уменьшается оно только вследствие изменения общественного мнения. Никакие строгости не искоренили дуэлей и кровомщения в некоторых странах. Сколько бы ни казнили черкесов за воровство, они продолжают красть из молодечества, потому что ни одна девушка не пойдет за молодого человека, не показавшего свою удаль, укравши лошадь или по крайней мере барана. Если люди перестанут драться на дуэлях и черкесы воровать, то не из страха перед казнями (страх казни прибавляет прелести молодечества), а потому, что общественное мнение изменится. То же и во всех других преступлениях. Насилие никогда не может уничтожить того, что признается общественным мнением. Напротив, стоит только общественному мнению стать прямо вразрез с насилием, и оно уничтожает всё действие насилия, как это было и всегда бывает при всяком мученичестве.

Что бы было, если бы не употреблялось насилия против враждебных народов и преступных элементов общества, мы не знаем. Но то, что теперь употребление насилия не покоряет ни тех, ни других, это мы знаем по продолжительному опыту.

Да и как же покорить силою народы, которых всё воспитание, все предания, даже религиозное учение ведет к тому, чтобы высшую добродетель видеть в борьбе с поработителями и в стремлении к свободе? И как искоренить насилием преступления в среде наших обществ, когда то, что считается правительствами преступлением, общественным мнением считается подвигом. Истребить насилием можно такие народы и таких людей, как это и делается, но покорить нельзя.

Решителем всего, основною силою, двигавшею и двигающею людьми и народами, всегда была и есть только одна невидимая, неосязаемая сила — равнодействующая всех духовных сил известной совокупности людей и всего человечества, выражающаяся в общественном мнении.

Насилие только ослабляет эту силу, задерживает, извращает и подменяет ее другую, не только не полезную для движения вперед человечества, но вредною деятельностью.

Для покорения христианству диких людей внехристианского мира — всех зулусов, и манджуров, и китайцев, которых многие считают за диких, — и людей диких, живущих в среде христианского мира, есть только одно, одно средство: распространение среди этих народов христианского общественного мнения, устанавливающегося только христианскою жизнью, христианскими поступками, христианскими примерами. И вот для того, чтобы завладеть теми людьми, которые остались не покоренными христианству, имея только это одно, только одно средство, люди нашего времени делают как раз обратное тому, что может достигнуть цели.

Для покорения христианству диких народов, которые нас не трогают и на угнетение которых мы ничем не вызваны, мы, вместо того чтобы прежде всего оставить их в покое, а в случае необходимости или желания сближения с ними воздействовать на них только христианским к ним отношением, христианским учением, доказанным истинными христианскими делами терпения, смирения, воздержания, чистоты, братства, любви, мы, вместо этого, начинаем с того, что, устраивая среди них новые рынки для нашей торговли, имеющие целью одну нашу выгоду, захватываем их землю, т. е. грабим их, продаем им вино, табак, опиум, т. е. развращаем их и устанавливаем среди них наши порядки, обучаем их насилию и всем приемам его, т. е. следованию одному животному закону борьбы, ниже которого не может спуститься человек, делаем всё то, что нужно для того, чтобы скрыть от них всё, что есть в нас христианского. И после этого, послав к ним десятка два болтающих притворный церковный вздор миссионеров, мы в виде неопровержимого доказательства невозможности приложения к жизни христианских истин приводим эти наши опыты обращения диких в христианство.

То же и для тех так называемых преступников, живущих внутри наших обществ. Для того, чтобы покорить этих людей христианству, есть только одно-единственное средство: христианское общественное мнение, которое может быть установлено среди этих людей только истинным христианским учением, подтвержденным истинным христианским примером жизни.

И вот для проповедания этого христианского учения и подтверждения его христианским примером мы устраиваем среди этих людей мучительные тюрьмы, гильотины, виселицы, казни, приготовления к убийству, на которые употребляем все свои силы, устраиваем для черного народа идолопоклоннические вероучения, долженствующие одурять их, устраиваем правительственную продажу одурманивающих ядов — вина, табаку, опиума; учреждаем даже проституцию; отдаем землю тем, кому она не нужна; устраиваем зрелища безумной роскоши среди нищеты; уничтожаем всякую возможность всякого подобия христианского общественного мнения; старательно разрушаем устанавливающееся христианское общественное мнение и потом этих-то самых нами самими старательно развращенных людей, запирая их, как диких зверей, в места, из которых они не могут выскочить и в которых они еще более звереют, или убивая их, — этих самых нами со всех сторон развращенных людей приводим в доказательство того, что на людей нельзя действовать иначе, как грубым насилием.

Совершается нечто подобное тому, что бывает тогда, когда заботливые невежественные врачи, поставив выздоравливающего силою природы больного в самые невыгодные условия гигиены и пичкая его ядовитыми лекарствами, потом утверждают, что больной не умер только благодаря их гигиене и лечению, тогда как больной уже давно бы был совсем здоров, если бы они его оставили в покое.

Насилие, которое выставляется орудием поддержания христианского устройства жизни, не только не производит этого действия, а, напротив, оно-то и препятствует общественному устройству быть тем, чем оно могло и должно бы быть. Общественное устройство таково, каково оно есть, не благодаря насилию, а несмотря на него.

И потому несправедливо утверждение защитников существующего строя о том, что если насилие только едва удерживает злые нехристианские элементы человечества от нападения на нас, то упразднение насилия и замена его общественным мнением не оградят человечества. Несправедливо это потому, что насилие не ограждает человечества, а, напротив, лишает человечество единственной возможности действительного ограждения себя установлением и распространением христианского общественного мнения на существующее устройство жизни. Только при упразднении насилия христианское общественное мнение перестанет извращаться, получит возможность беспрепятственного распространения, и люди не будут направлять свои силы на то, что не нужно им, а направят их на ту одну духовную силу, которая движет ими.

Но как отбросить очевидное, осязаемое ограждение городского с пистолетом и положиться на нечто невидимое, неосязаемое — общественное мнение? Существует ли еще оно, или нет? Главное же, тот порядок вещей, в котором мы живем, мы знаем. Хорош ли, дурен ли он, мы знаем его недостатки и привыкли к нему, знаем, как вести себя, что делать в теперешних условиях; но что будет тогда, когда мы откажемся от него и положимся на что-то невидимое, неосязаемое и вполне не известное? И людям представляется страшной та неизвестность, в которую они вступают, отказавшись от знакомых порядков жизни.

Но ведь хорошо бояться неизвестности, когда известное нам наше положение прочно и обеспечено. Но положение наше не только не обеспечено, но мы несомненно знаем, что стоим на краю гибели.

Если уж бояться, то будем бояться того, что, точно, страшно, а не того, что мы только предполагаем страшным.

Боясь сделать усилие, чтобы вырваться из губящих нас условий только потому, что будущее не вполне известно нам, мы похожи на пассажиров тонущего корабля, которые бы, боясь сесть в лодку, перевозящую их на берег, забились бы в каюту и не хотели бы выходить из нее; или на тех овец, которые от страха огня, охватившего двор, жмутся под сарай и не выходят в открытые ворота.

Разве можно нам, людям, стоящим на пороге ужасающей по бедственности и истребительности войны внутренних революций; перед которой, как говорят приготовители ее, ужасы 93 года будут игрушкой, говорить об опасности, которая угрожает нам от дагомейцев, зулусов и т. п., которые живут за тридевять земель и не думают нападать на нас и от тех нескольких тысяч одуренных нами же и развращенных мошенников, воров и убийц, число которых не уменьшается от всех наших судов, тюрем и казней.

Кроме того, страх этот перед упразднением видимого ограждения полицейского городского есть страх преимущественно городских людей, т. е. людей, живущих в ненормальных и искусственных условиях. Люди, живущие в естественных условиях жизни, не по городам, но среди природы, борясь с нею, живут без этого ограждения и знают, как мало может оградить их насилие от окружающих их действительных опасностей. В страхе этом есть что-то болезненное, зависящее преимущественно от тех ложных условий, в которых многие из нас живут и выросли.

Доктор-психиатр рассказывал, что однажды летом, когда он выходил из больницы, душевнобольные сопровождали его до ворот на улицу. «Пойдемте со мной в город», — предложил им доктор. Больные согласились, и небольшая кучка пошла за доктором. Но чем дальше они подвигались по улице, где происходило свободное движение здоровых людей, тем более робели и всё ближе и ближе жались к доктору, задерживая его ход. И наконец, все стали проситься назад в свою больницу, к своему безумному, но привычному образу жизни, к своим сторожам, побоям, длинным рукавам, одиночкам.

Так же жмутся и тянутся назад к своему безумному строю жизни, своим фабрикам, судам, тюрьмам, казням, войнам люди, которых зовет христианство на волю, на свободную, разумную жизнь будущего, наступающего века.

Люди говорят: «Чем мы будем обеспечены, когда уничтожится существующее устройство? Какие именно и в чем будут состоять те новые порядки, которые заменят теперешние? До тех же пор, пока мы не будем знать, как именно сложится наша жизнь, мы не пойдем вперед и не тронемся с места».

Требование это подобно тому, которое заявил бы исследователь новых стран, потребовав подробное описание той страны, в которую он вступает.

Если бы жизнь отдельного человека при переходе от одного возраста к другому была бы вполне известна ему, ему незачем бы было жить. То же и с жизнью человечества: если бы у него была программа той жизни, которая ожидает его при вступлении в новый возраст его, то это было бы самым верным признаком того, что оно не живет, не движется, а толчется на месте.

Условия нового строя жизни не могут быть известны нам, потому что они должны быть выработаны нами же. Только в том и жизнь, чтобы познавать неизвестное и сообразовать с этим новым познанием свою деятельность.

В том жизнь каждого отдельного человека, и в том жизнь человеческих обществ и

человечества.

## XI

Положение христианского человечества со своими тюрьмами, каторгами, виселицами, с своими фабриками, скоплениями капиталов, с своими податями, церквами, кабаками, домами терпимости, всё растущими вооружениями и миллионами одуренных людей, готовых, как цепные собаки, броситься на тех, на кого их натравят хозяева, было бы ужасным, если бы оно было произведением насилия, но оно есть прежде всего произведение общественного мнения. А то, что установлено общественным мнением, не только может им же быть разрушено, но им же и разрушается.

Сотни миллионов денег, десятки миллионов дисциплинированных людей, удивительной силы орудия истребления, при доведенной до последней степени совершенства организации, при целой армии людей, призванной к тому, чтобы обманывать и гипнотизировать народ, и всё это подчиненное, посредством электричества, уничтожающее пространство, людям, считающим такое устройство общества не только выгодным для себя, но таким, без которого они должны неизбежно погибнуть, и потому употребляющим все силы своего ума для поддержания его, — какая, казалось бы, несокрушимая сила.

А между тем стоит только представить себе то, к чему дело идет и чему никто не может воспрепятствовать, что между людьми установилось с такою же силою и всеобщностью, как и языческое общественное мнение, общественное мнение христианское и заменило языческое, что большинство людей так же стыдится участия в насилии и пользовании им, как стыдятся теперь люди мошенничества, воровства, нищенства, трусости, и тотчас же само собой, без борьбы и насилия уничтожается это сложное и кажущееся столь могущественным устройство жизни. А для того, чтобы это случилось, не нужно, чтобы вошло в сознание людей что-либо новое, а только чтобы исчез тот туман, который скрывает от людей истинное значение некоторых дел насилия, чтобы растущее христианское общественное мнение пересилило отживающее общественное мнение языческое, допуславшее и оправдывавшее дела насилия. Нужно только, чтобы людям стало так же стыдно делать дела насилия, участвовать в них и пользоваться ими, как стыдно теперь быть и слыть мошенником, вором, трусом, нищим. А это самое начинает совершаться. Мы только не замечаем этого, как не замечают люди движения, когда они сами движутся вместе со всем окружающим.

Правда, устройство жизни в главных чертах остается всё таким же насильническим, каким оно было 1000 лет тому назад, и не только таким же, но в некоторых отношениях, особенно в приготовлениях к войне и в самых войнах, оно представляется даже более жестоким; но зарождающееся христианское общественное мнение, то самое, которое при известной степени развития должно изменить всё языческое устройство жизни, уже начинает действовать. Засохшее дерево по виду стоит так же твердо, как оно стояло и прежде, — оно даже кажется тверже, потому что стало жестче, — но оно уже подтачивается в сердцевине и готовится к падению. То же и с теперешним насильническим устройством жизни. Внешнее положение людей то же: такие же одни насильники, другие насилуемые, но уже не тот взгляд и насилующих и насилуемых на значение и достоинство положений тех и других.

Люди насилующие, т. е. участвующие в управлении, и люди, пользующиеся насилием, т. е. богатые, не представляют уже теперь из себя, как это было прежде, цвета общества и тот идеал человеческого благополучия и величия, к которому стремились прежде все насилуемые. Теперь уже, очень часто, не насилуемые стремятся к положению насилующих и стараются подражать им, а, напротив, насилующие часто добровольно отказываются от выгод своего положения, избирают положение насилуемых и стараются в простоте жизни уподобиться насилуемым.

Не говоря уже о явно презируемых теперь должностях и положениях, вроде: шпионов, агентов тайной полиции, ростовщиков, кабатчиков, — большое количество положений насильников, считавшихся прежде почетными, вроде полицейских, придворных, судейских, административных, духовных, военных, откупщицких, банкирских, не только не считается всеми желательным, но уже осуждается известным наиболее уважаемым кругом людей. Есть уже люди, которые добровольно отказываются от этих прежде считавшихся безукоризненными

положений и предпочитают им менее выгодные, но не связанные с насилием положения.

Но не только правительственные люди, есть уже и такие богатые люди, которые не по религиозному чувству, как это бывало прежде, а только вследствие особенной чуткости к зарождающемуся общественному мнению отказываются от унаследованных состояний, считая справедливым пользование только тем, что заработано своим трудом.

Положение участника в правительстве и богача уже не представляется, как оно было прежде и каково оно теперь среди нехристианских народов, несомненно почтенным и достойным уважения положением и благословением Божиим. Люди, наиболее чуткие, нравственные (большею частью они же и наиболее образованные) избегают этих положений и предпочитают им более скромные, но не зависимые от насилия положения.

Лучшие молодые люди в том возрасте, когда они еще не испорчены жизнью и избирают карьеру, предпочитают деятельность врачей, технологов, учителей, художников, писателей, даже просто земледельцев, живущих своим трудом, положениям судейским, административным, духовным и военным, оплачиваемым правительством, или положению людей, живущих своими доходами.

Большинство памятников, воздвигаемых теперь, воздвигается уже не государственным деятелям, не генералам и уже никак не богачам, а ученым, художникам, изобретателям, людям, не имевшим не только ничего общего ни с правительствами, ни с властью, но очень часто боровшимся с нею. Воспеваются в поэзии, изображаются пластическим искусством, почитаются торжественными юбилеями не столько государственные люди и богачи, сколько ученые, художники...

Лучшие люди нашего времени стремятся в эти наиболее чтимые положения, и потому круг, из которого отбираются люди правительственные и богатые, становится всё меньше и низменнее, так что по уму, образованию и в особенности по нравственным качествам уже теперь люди, стоящие во главе управления, и богачи не составляют, как это было в старину, цвета общества, а, напротив, стоят ниже среднего уровня.

Как в России и Турции, так в Америке и Франции, сколько правительства ни переменяют своих чиновников, большинство их люди корыстные и продажные, стоящие на такой низкой степени нравственности, что они не удовлетворяют даже и тем низким требованиям простой неподкупности, которые предъявляются к ним правительствами. Часто можно слышать теперь наивные сетования правительственных людей о том, что лучшие люди по какой-то страной, как им кажется, случайности, всегда находятся во враждебном им лагере. Вроде того, как если бы люди сетовали, что по какой-то странной случайности в палачи попадают все люди неутонченные и не особенно добрые.

Большинство богатых людей точно так же в наше время составляются уже не из самых утонченных и образованных людей общества, как это было прежде, а или из грубых собирателей богатств, занятых только обогащением себя, большею частью нечестными средствами, или из вырождающихся наследников этих собирателей, не только не играющих выдающейся роли в обществе, но подвергающихся в большинстве случаев всеобщему презрению.

Но мало того, что круг людей, из которого отбираются слуги правительства и богатые люди, становится всё меньше и меньше и низменнее и низменнее, сами люди эти уже не приписывают тем положениям, которые они занимают, прежнего значения и часто, стыдясь их и в ущерб тому делу, которому они служат, не исполняют того, что они по своему положению призваны делать. Короли и императоры почти ничем уже не управляют, никогда почти сами не решаются совершать внутренние изменения и вступать в новые внешние политические условия, а большею частью предоставляют решение этих вопросов государственным учреждениям или общественному мнению. Все обязанности их сводятся к тому, чтобы быть представителями государственного единства и могущества. Но и эту обязанность они исполняют всё хуже и хуже. Большинство их не только не держится в прежнем недостижимом величии, а, напротив, всё более и более демократизируется, даже энканальируется, сбрасывая с себя последний внешний престиж, т. е. нарушая то самое, что они призваны поддерживать. То же происходит и с военными. Военные люди высших чинов, вместо того чтобы поощрять грубость и жестокость воинов, необходимые для их дела, сами распространяют между военным сословием

образование, проповедуют гуманность и часто сами даже разделяют социалистические убеждения масс и отрицают войну. В последних заговорах против русского правительства многие из замешанных были военные. И таких военных заговорщиков становится всё больше и больше. И очень часто случается, как это было на днях, что призванные для усмирения жителей военные отказываются стрелять по ним. Военное молодечество прямо осуждается самими военными и часто служит предметом насмешек. То же с судьями и прокурорами: судьи, обязанные судить и приговаривать преступников, ведут заседания так, чтобы оправдывать их, так что правительство русское, для осуждения тех лиц, которых ему нужно осудить, уже никогда не подвергает их обыкновенным судам, а передает так называемому военному суду, представляющему только подобие суда. То же и с прокурорами, которые часто отказываются от обвинений и даже вместо обвинений, обходя закон, защищают тех, кого они должны обвинять. Ученые юристы, обязанные оправдывать насилие власти, всё более и более отрицают право наказания и вводят на место его теории невменяемости и даже не исправления, а лечения тех, которых называют преступниками. Тюремщики и начальники каторжников большею частью делают защитниками тех, кого они должны мучить. Жандармы и сыщики постоянно спасают тех, кого они должны губить. Духовные лица проповедуют терпимость, иногда даже отрицание насилия, и более образованные из них стараются в своих проповедях обходить ту самую ложь, которая составляет весь смысл их положения и которую они призваны проповедовать. Палачи отказываются от исполнения своих обязанностей, так что в России смертные приговоры часто не могут приводиться в исполнение за отсутствием палачей, так как охотников поступать в палачи, несмотря на все выгоды, представляемые этим людям, выбираемым из каторжников, становится всё меньше и меньше. Губернаторы, исправники, становые, сборщики податей, мытари часто, жалея народ, стараются найти предлоги для несобирания с народа податей. Богачи не решаются пользоваться своим богатством только для себя, а распределяют его на общественные дела. Землевладельцы устраивают на своих землях больницы, школы, а некоторые из них даже отказываются от владения землей и передают ее земледельцам или устраивают на ней общины. Заводчики и фабриканты устраивают больницы, училища, кассы, пенсии, жилища для рабочих; некоторые учреждают товарищества, в которых сами становятся равными с другими участниками. Капиталисты отдают часть своих капиталов на общественные, образовательные, художественные, филантропические учреждения. Не в силах расстаться с своими богатствами при жизни, многие из них после смерти по завещаниям все-таки отказываются от них в пользу общественных учреждений.

Все эти явления могли бы казаться случайными, если бы они все не сводились к одной общей причине, как и могло бы казаться случайным то, что весной на некоторых деревьях начинает наливаться почка, если бы мы не знали, что причина этого — общая весна и что если на некоторых деревьях ветви начали мякнуть, то наверное, то же будет и со всеми.

То же и в проявлении христианского общественного мнения о значении насилия и того, что основано на нем. Если это общественное мнение влияет уже на некоторых наиболее чутких людей и заставляет их каждого в своем деле отказываться от преимуществ, даваемых насилием, или не пользоваться им, то оно будет влиять и дальше, и будет влиять до тех пор, пока не изменит всю деятельность людей и не приведет ее в согласие с тем христианским сознанием, которое уже живет в передовых людях человечества.

И если теперь уже есть правители, не решающиеся ничего предпринимать сами своей властью и старающиеся быть как можно более похожими не на монархов, а на самых простых смертных, и высказывающие готовность отказаться от своих прерогатив и стать первыми гражданами своей республики; и если есть уже такие военные, которые понимают всё зло и грех войны и не желают стрелять ни в людей чужого, ни своего народа; и такие судьи и прокуроры, которые не хотят обвинять и приговаривать преступников; и такие духовные, которые отказываются от своей лжи; и такие мытари, которые стараются как можно меньше исполнять то, что они призваны делать; и такие богатые люди, которые отказываются от своих богатств, — то неизбежно сделается то же самое и с другими правительствами, другими военными, другими судебскими, духовными, мытарями и богачами. А не будет людей, готовых занимать эти положения, не будет и самих положений и насилия.

Но не этим одним путем ведет общественное мнение людей к уничтожению

существующего порядка и заменению его новым. По мере того как положения насилия становятся всё менее и менее привлекательными и всё менее и менее находится охотников занимать их, всё более и более разъясняется и ненужность их.

Те же в христианском мире правители и правительства, те же войска, те же суды, те же мытари, то же духовенство, те же богачи землевладельцы, фабриканты и капиталисты, как и прежде, но совсем другое уже отношение к ним людей и самих людей к своему положению.

Всё те же правители, так же ездят на свидания, такие же встречи, и охоты, и пиры, и балы, и мундиры, и такие же дипломаты, и разговоры о союзах и войнах; такие же парламенты, в которых так же разбираются вопросы восточные и африканские, и союзов, и разрывов, и гомруля, и 8-часового дня. И так же сменяются одни министерства другими, такие же речи, инциденты. Но людям, видящим, каким образом одна статья в газете изменяет более положение дел, чем десятки свиданий монархов и сессий парламентов, всё яснее и яснее становится, что не эти встречи, и свидания, и разговоры в парламентах руководят делами людей, а нечто независимое от всего этого и нигде не сосредоточенное.

Те же генералы, и офицеры, и солдаты, и пушки, и крепости, и смотры, и маневры, но войны нет год, десять, двадцать лет, и кроме того всё менее и менее можно надеяться на военных для усмирения бунтов, и всё яснее и яснее становится, что поэтому генералы, и офицеры, и солдаты суть только члены торжественных процессий, — предметы забавы правителей, большие, слишком дорогостоящие кордебалеты.

Те же прокуроры, и судьи, и такие же заседания, но становится всё яснее и яснее, что так как гражданские суды решаются по самым разнообразным причинам, но только не по справедливости, и что уголовные суды не имеют никакого смысла, потому что наказания не достигают никакой допускаемой даже самими судьями цели, то учреждения эти не представляют никакого другого значения, как только средство кормления людей, ни на что более полезное не способных.

Те же священники, и архиереи, и церкви, и синоды, но всем становится всё яснее и яснее, что люди эти давно уже сами не верят в то, что проповедают, и потому не могут уже никого убедить в необходимости верить в то, во что они сами не верят.

Те же сборщики податей, но они всё менее и менее делаются способными силою отнимать у людей их имущество, и становится всё яснее и яснее, что люди без сборщиков податей могут по добровольной подписке собрать всё, что им нужно.

Те же богачи, но всё становится яснее и яснее, что они могут быть полезны только в той мере, в которой они перестанут быть личными распорядителями своих богатств и отдадут обществу всё или хотя часть своего состояния.

Когда же всё это совсем и всем делается вполне ясным, естественно будет людям спросить себя: «Да зачем же нам кормить и содержать всех этих королей, императоров, президентов и членов разных палат и министерств, ежели от всех их свиданий и разговоров ничего не выходит? Не лучше ли, как говорил какой-то шутник, сделать королеву из гуттаперчи?»

«И на что нам войска с их генералами, и музыками, и кавалериями, и барабанами? На что они нужны, когда войны нет, никто не желает никого завоевывать, и даже если и есть война, то барышами от нее не дают воспользоваться другие народы и по своему народу войска отказываются стрелять?»

«И на что такие судьи и прокуроры, которые в гражданских делах решают не по справедливости, а в уголовных делах сами знают, что всякие наказания бесполезны?»

«И на что такие сборщики податей, которые неохотно собирают подати, а то, что нужно, собирается и без них?»

«И на что духовенство, которое давно уже не верит в то, что оно должно проповедовать?»

«И на что капиталы в частных руках, когда они могут приносить пользу, только сделавшись общим достоянием?»

А раз спросив себя об этом, люди не могут не прийти к решению перестать содержать все эти ставшие бесполезными учреждения.

Но мало того, что люди, содержащие эти учреждения, придут к решению упразднить их, сами люди, занимающие эти положения, одновременно или еще прежде этого будут приведены



к необходимости отказа от этих положений.

Общественное мнение всё более и более осуждает и отрицает насилие, и потому люди, всё более и более подчиняясь общественному мнению, всё менее и менее охотно занимают положения, поддерживаемые насилием; те же, которые занимают эти положения, всё менее и менее могут употреблять насилие. Не употребляя же насилия, но оставаясь в положении, обусловливаемом насилием, люди, занимающие эти положения, всё более и более становятся ненужными. И ненужность эта, всё более и более чувствуясь и теми, которые поддерживают эти положения, и теми, которые находятся в них, делается, наконец, такова, что не найдется более людей для того, чтобы поддерживать эти положения, и таких, которые бы решились занимать их.

Раз я в Москве присутствовал при спорах о вере, которые происходили по обыкновению на Фоминой у церкви в Охотном ряду. Собралась на тротуаре кучка, человек 20, и шел серьезный разговор о религии. В это же время был какой-то концерт в рядом стоящем здании дворянского собрания, и полицейский офицер, заметив кучку народа, собравшуюся у церкви, прислал верхового жандарма с приказанием разойтись. Офицеру собственно не нужно было, чтобы расходились. Собравшиеся 20 человек никому не мешали; но офицер стоял тут целое утро, и ему надо было что-нибудь делать. Молодой малый — жандарм, молодецки подпираясь правой рукой и гремя саблей, подъехал к нам и строго приказал: «Разойтись! Что собрались?» Все оглянулись на жандарма, и один из говоривших, скромный человек в чуйке, спокойно и ласково сказал: «Мы говорим о деле, и нам незачем расходиться, а ты лучше, молодой человек, слезь да послушай, о чем говорят. И тебе будет на пользу», и, отвернувшись, продолжал беседу. Жандарм молча отвернул лошадь и отъехал.

То же самое должно совершиться во всех делах насилия. Офицеру скучно, ему делать нечего; он, бедный, поставлен в такое положение, в котором ему необходимо распоряжаться. Он лишен всякой человеческой жизни, ему можно только смотреть и распоряжаться, распоряжаться и смотреть, хотя распоряжения его и смотренье ни для чего не нужны. В таком же положении отчасти уже находятся и в скором времени вполне будут находиться все эти несчастные правители, министры, члены парламентов, губернаторы, генералы, офицеры, архиереи, священники, богачи даже. Им больше ничего нельзя делать, как только распоряжаться, и они распоряжаются, посылают своих посланных, как офицер жандарма, для того чтобы мешать людям, и так как люди, которым они мешают, обращаются к ним же с просьбами, чтобы они не мешали им, то им кажется, что они необходимо нужны.

Но приходит время и придет, когда станет всем совершенно ясно, что они ни на что не нужны, а только мешают людям, и люди, которым они мешают, скажут им ласково и кротко, как тот человек в чуйке: «Не мешайте нам, пожалуйста». И все эти посланные и посылающие должны будут последовать этому доброму совету, т. е. перестать, подбоченясь, ездить между людьми, мешая им, а слезши с своих коньков и снявши с себя свои наряды, послушать то, что говорят люди, и, присоединясь к ним, приняться со всеми вместе за настоящую человеческую работу.

Приходит время и неизбежно придет, когда все насильнические учреждения нашего времени уничтожатся вследствие сделавшейся слишком очевидной для всех ненужности, нелепости, даже неприличия их.

Должно прийти время, когда с людьми нашего мира, занимающими положения, даваемые насилием, случится то, что случилось с королем в сказке Андерсена «О новом царском платье», когда малое дитя, увидав голого царя, наивно вскрикнуло: «Смотрите, он голый!» — и все, видевшие это и прежде, но не высказывающие, не могли уже более скрывать этого.

Сказка в том, что к царю, охотнику до новых платьев, приходят портные, обещающиеся сшить необыкновенное платье. Царь нанимает портных, и портные начинают шить, но говорят, что особенное свойство их платья то, что кто не нужен для своей должности, тот не может видеть платьев.

Придворные приходят смотреть работу портных и ничего не видят, так как портные водят иголками по пустому месту. Но, помня условие, все должностные лица говорят, что видят платья и хвалят их. То же делает и царь. Приходит время процессии, в которой царь пойдет в новом платье. Царь раздевается и надевает новые платья, т. е. остается голый и голый идет по

городу. Но, помня условие, никто не решается сказать, что платьев нет, до тех пор, пока малое дитя не вскрикнуло: «Смотрите, он голый!»

То же должно случиться со всеми занимающими по инерции положения, давно уже ставшие ненужными, когда первый не заинтересованный в том, чтобы, по пословице: рука руку моет, скрывать ненужность этих учреждений, укажет на бесполезность их и наивно крикнет: «А ведь люди эти уже давно ни на что не нужны».

Положение христианского человечества с его крепостями, пушками, динамитами, ружьями, торпедами, тюрмами, виселицами, церквями, фабриками, таможнями, дворцами действительно ужасно; но ведь ни крепости, ни пушки, ни ружья ни в кого сами не стреляют, тюрьмы никого сами не запирают, виселицы никого не вешают, церкви никого сами не обманывают, таможни не задерживают, дворцы и фабрики сами не строятся и себя не содержат, а всё делают это люди. Если же люди поймут, что этого не надо делать, то этого ничего и не будет.

А люди уже начинают понимать это. Если еще не все понимают это, то всё понимают передовые люди, те, за которыми идут остальные. И перестать понимать то, что раз поняли передовые люди, они уже никак не могут. Понять же то, что поняли передовые, остальные люди не только могут, но неизбежно должны.

Так что предсказание о том, что придет время, когда все люди будут научены Богом, разучатся воевать, перекуют мечи на орала и копья на серпы, т. е., переводя на наш язык, все тюрьмы, крепости, казармы, дворцы, церкви останутся пустыми и все виселицы, ружья, пушки останутся без употребления, — уже не мечта, а определенная, новая форма жизни, к которой с всё увеличивающейся быстротой приближается человечество.

Но когда же это будет?

1800 лет назад на вопрос этот Христос ответил, что конец нынешнего века, т. е. языческого устройства мира, наступит тогда, когда (Мф. XXIV, 3-28) увеличатся до последней степени бедствия людей и вместе с тем благая весть Царства Божия, т. е. возможность нового, ненасильнического устройства жизни, будет проповедана по всей земле.

«О дне же и часе том никто не знает, только отец мой один (Мф. XXIV, 36)», — тут же говорит Христос. Ибо оно может наступить всегда, всякую минуту, и тогда, когда мы не ожидаем его.

На вопрос о том, когда наступит этот час, Христос говорит, что знать этого мы не можем; но именно потому, что мы не можем знать времени наступления этого часа, мы не только должны быть всегда готовы к встрече его, как должен быть всегда готов хозяин, стерегущий дом, как должны быть готовы девы с светильниками, встречающие жениха, но и должны работать из всех данных нам сил для наступления этого часа, как должны были работать работники на данные им таланты (Мф. XXIV, 43; XXV, 1-30). На вопрос, когда наступит этот час, Христос увещевает людей всеми своими силами работать для скорейшего наступления его.

И другого ответа не может быть. Знать то, когда наступит день и час Царства Божия, люди никак не могут, потому что наступление этого часа ни от кого другого не зависит, как от самих людей.

Ответ тот же, как ответ того мудреца, который, на вопрос прохожего: далеко ли до города? ответил: «Иди». Как мы можем знать, далеко ли до той цели, к которой приближается человечество, когда мы не знаем, как будет подвигаться к этой цели человечество, от которого зависит — идти или не идти, остановиться, умерить свое движение или усилить его.

Всё, что мы можем знать, это то, что мы, составляющие человечество, должны делать и чего должны не делать для того, чтобы наступило это Царство Божие. А это мы все знаем. И стоит только каждому начать делать то, что мы должны делать, и перестать делать то, чего мы не должны делать, стоит только каждому из нас жить всем светом, который есть в нас, для того, чтобы тотчас же наступило то обещанное Царство Божие, к которому влечется сердце каждого человека.